

ПУШКИН НА КАВКАЗЕ

Война в азиатской Турции 1828 – 1829 годов, составляя громкую эпопею в ряду наших кавказских войн, необыкновенно богата славными подвигами и блещет именами, достойными занять место в истории. Но среди громких имен этих воинов, увенчанных кровавыми лаврами, встречается дорогое для России имя ее величайшего поэта Александра Сергеевича Пушкина, послужившего России в эту годину не мечом, а своим вдохновенным творческим гением. Дикая, неведомая страна, где вечно кипела война, куда уходили войска за войсками, представлялась народу страной какого-то мрака и убийств, откуда никто не возвращался, и народ охарактеризовал ее именем «погибельного Кавказа». Пушкин, добровольный участник похода Паскевича, первый заговорил о Кавказе, первый развернул перед русским читателем бесконечные красоты дикой, величавой горной природы, представил в ярких образах вольную жизнь кавказского горца, сумел показать, что эта воинственная и своеобразная жизнь, полная невзгод, тревог и опасностей, была в то же время жизнью, увлекающей в область поэзии. И то, что ученый бытописатель изложил бы в многотомных сочинениях, то поэт схватывал и очерчивал двумя-тремя штрихами своей художественной кисти, говорившей человеческому сердцу более, чем многотомные сочинения. Вот почему Пушкин принадлежит Кавказу, и как певец, посвятивший ему свои вдохновенные

песни, и как человек, разделивший с кавказскими войсками боевые походы, труды и опасности под победоносными знаменами графа Паскевича. Он сам говорит, что муза его –

К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
«Кавказа дикие цветы».

Любила бранные станицы,
Тревоги смелых казаков,
Курганы, тихие гробницы,
И шум, и ржанье табунов...

Пылкий по своей натуре, любивший все, что выходило из ряда обыденных явлений, Пушкин с ранней молодости рвался в военную службу, которая с ее гусарской удалью, с полнейшей беспечностью, с добрым сердечным товариществом, составлявшим в те времена отличительную черту военных кружков, представлялась ему в самом привлекательном виде. Он рисовал ее себе не иначе, как окрашенной поэтической кистью партизана Давыдова. Он сам говорит:

Но что прелестней и живей
Войны, сражений и пожаров,
Кровавых и пустых полей,
Бивака, рыцарских ударов,
И что завидней кратких дней
Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных гусаров?..

Царскосельский лицей, в котором воспитывался Пушкин, тогда имел еще преимущество выпускать своих воспитанников одинаково как в гражданскую, так и в военную службу, преимущественно в гвардию. Пушкин также избрал военное поприще; он хлопотал о поступлении в лейб-гвардии гусарский полк, где у него много было друзей и поклонников его таланта. Но отец его категорически заявил, что не может содержать сына в гусарах, и Пушкин выпущен был с чином X класса в министерство иностранных

дел, где служба предоставляла ему слишком много досуга. Увлечения молодости, шалости, наконец несколько политических памфлетов и сатир угрожали ему серьезными последствиями. Его спасло только заступничество Карамзина, Милорадовича и Энгельгардта, бывшего тогда директором лицея. «Вы мне простите. Ваше Величество, – сказал последний государю, – если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника. В нем развивается необыкновенный талант; он и теперь уже составляет красу современной литературы, а впереди еще больше на него надежд. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его, чем ссылка, которая может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека». Благодаря этому все дело и ограничилось тогда высылкой поэта из столицы на службу в Екатеринослав. Там, посреди благодатной природы юга, положено было основание многим произведениям творческого гения Пушкина, и эта же поездка в Екатеринослав послужила косвенным поводом к первому знакомству Пушкина с Кавказом.

Летом 1820 года, катаясь однажды по Днепру, он простудился и схватил жестокую горячку. В это самое время проезжал через Екатеринослав к Кавказским минеральным водам генерал Раевский, известный ветеран 1812 года, тогда командовавший четвертым пехотным корпусом. Сын этого Раевского, Николай (впоследствии один из героев кавказской войны), был другом Пушкина. Он разыскал его в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкой лимонада и принял в нем самое живое участие. Когда Пушкин немного поправился, старый Раевский предложил ему сделать путешествие вместе с его семьей на Кавказ, и Пушкин охотно принял предложение.

«Счастливейшие минуты жизни моей провел я в семействе Раевского, – писал он брату, – я не видел в нем героя – славу русского войска; я любил в нем человека с ясным

умом, с простой, прекрасной душой, всегда любезного и милого хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 1812 года, человек без предрассудков, с сильным характером, он невольно привяжет к себе каждого, кто только сумеет понять и оценить его высокие качества». Так характеризует Пушкин героя народной войны – Раевского.

Два месяца Пушкин прожил в Пятигорске, купаясь в источниках, любясь видами Кавказа. Судьба, как нарочно, привела его туда, где границы России отличаются резкой, величавой характерностью, где гладкая неизмеримость степей прерывается подоблачными горами, скрывающими за собою панораму юга. Часто со всем семейством Раевского Пушкин уезжал на гору Бештау пить железные воды и жил там в калмыцких кибитках за неимением в то время других помещений. Эти оригинальные поездки, прогулки по горам, свободная жизнь, заманчивая и совсем не похожая на прежнюю, новость впечатлений, ночи под открытым южным небом, и кругом причудливые картины гор, новые нравы, невиданные племена, аулы, сакли, дикая вольность черкесов, а в нескольких часах пути жестокая, упорная война – все это не могло не действовать на молодого поэта. Исполинский Кавказ поражал его воображение; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще сковывали свободный полет его вдохновения.

Созерцание суровых красот Кавказа навело его на мысль написать поэму из быта кавказских горцев, и поэма эта вышла в свет, спустя два года под именем «Кавказский пленник». Правда, многое в этой поэме, говоря словами самого Пушкина, слабо, неполно, но зато многое угадано и выражено чрезвычайно верно. Сцена поэмы должна была находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа; но с заоблачных вершин бесснежного Бештау только лишь в отдалении виднеются

ледяные главы Казбека и Эльбруса, и Пушкин, как сам признается, поставил своего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца, где возвышаются на расстоянии друг от друга четыре горы – последняя отрасль Кавказа. Впрочем, истинным героем поэмы является не пленник, а сам Кавказ с его природой и обитателями. История пленника – только рамка, в которую Пушкин заключил свои великолепные описания, никогда не потерявшие своей поэтической ценности.

«Жалею, мой друг, – пишет Пушкин своему брату, – что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками разноцветными и неподвижными; жалею, что не входил со мною на острый верх пятихолмного Бештау, Машука, Железной горы, Каменной, Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикае черкесы напуганы, древняя дерзость их исчезла; дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная страна, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасной торговлей, не будет нам преградой в будущих войнах, и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона о завоевании Индии...»

Не под впечатлением ли этих мечтаний вылилось у поэта то чудное поэтическое пророчество, которое вошло в заключительные строфы его «Кавказского пленника»:

Подобно племени Батя,
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет алчной брани глас,
Оставит стрелы боевые.

К ущельям, где гнездились вы,
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы...

С Кавказских вод Пушкин, вместе с семейством Раевского, отправился в Крым через Черноморье. Он ехал по Кубани, бок о бок с воинственными и всегда опасными племенами черкесов. «Видел я, – пишет он брату, – берега Кубани и сторожевые станицы, любовался нашими казаками – вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности! Ехал в виду неприязненных полей свободных горских народов. Вокруг нас ехали шестьдесят казаков; за ними тащилась пушка с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смиренны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа, они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасть на аркан какого-нибудь хищника». Пушкин был совершенно счастлив, радовался военной обстановке своего вояжа, восхищался ловкостью и джигитовкой кубанских казаков. «Ты понимаешь, – пишет он брату, – как эта тень опасности нравилась моему мечтательному воображению».

Вид берегов Кубани с ее линейной стражей, рассказы казаков и вся обстановка их быта на вечном рубеже между жизнью и смертью, создали в фантазии поэта живые образы, настолько же грандиозные, насколько и верные страшной действительности. Прямо под живым впечатлением казачьего рассказа вылилась у Пушкина прекрасная песня, помещенная в «Пленнике»:

На берегу заветных вод
Цветут богатые станицы,
Веселый пляшет хоровод.

Бегите, русские девицы,
Спешите, красные, домой:
Чеченец ходит за рекой.

Кто был на Кавказе, тот не может не удивляться верности картин, набрасываемых Пушкиным.

Взгляните хоть с возвышенностей, на которых стоит Пятигорск, на отдаленную цепь гор, и вы невольно повторите мысленно те стихи, о которых вам, может быть, не случалось вспоминать целые годы:

Великолепные картины!
Престолы вечные снегов!
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков;
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая лебяном,
Эльбрус огромный, величавый
Белел на небе голубом.

Грандиозный образ Кавказа в первый раз был воспроизведен русской поэзией в поэме Пушкина, и только в ней русское общество познакомилось с Кавказом, давно знакомым ему по грому оружия. И впечатление было настолько сильно, что с этих пор Кавказ становится для русских заветной страной не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, страной кипучей жизни и смелых мечтаний. «Муза Пушкина, – говорит Белинский, – как бы освятила давно уже на деле существовавшее родство России с этим краем, купленным драгоценной кровью сынов ее и подвигами ее героев». И Кавказ, сделавшийся колыбелью поэзии Пушкина, сделался потом колыбелью и могилей поэзии Лермонтова.

Следя за жизнью Пушкина в связи с его творчеством, нельзя не видеть, как сама жизнь непосредственно внушала ему его создания: под впечатлением Кавказа является

«Кавказский пленник»; Крыму он обязан «Бахчисарайским фонтаном». И как в «Кавказском пленнике» преобладающие картины достались на долю дикой природы Кавказа, так лучшей стороной «Бахчисарайского фонтана» были описания или, лучше сказать, живые картины магометанского Крыма; пребывание на юге вызвало поэму «Братья-разбойники», и, наконец, «Цыгане». Проезжая из Кишинева в Измаил, Пушкин пристал к цыганскому табору, кочевал с ними и жил в шатрах его дикой жизнью кочевого племени.

За их ленивыми толпами
В пустыне, праздный, я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями;
В походах медленных любил
Их песней радостные гулы
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил...

Между тем в судьбе Пушкина происходит новый крутой поворот. Одно из его писем имело для него печальные последствия и, в 1824 году, исключенный из службы, он был удален на жительство в имение его родителей. Там в селе Михайловском, Псковской губернии, под надзором местных властей, Пушкин провел два года чрезвычайно богатых и плодотворных в его поэтической деятельности. А между тем началось новое царствование; в Михайловское прискакал фельдъегерь, забрал Пушкина и помчал его в Москву, в кремль, прямо к императору Николаю Павловичу. Государь принял его в кабинете чрезвычайно милостиво, долго говорил с ним и в заключение сказал: «Ты будешь присылать ко мне все, что напишешь; отныне я сам буду твоим цензором».

«Сочинений ваших, – писал по этому поводу Пушкину шеф корпуса жандармов граф Бенкендорф, – никто рас-

смаковать не будет: на них нет никакой цензуры. Государь Император сам будет и первым ценителем произведений ваших и вашим цензором».

С этой минуты начинается новая эпоха в жизни Пушкина.

Между тем наступил 1828 год. Объявлена была турецкая война, и русское войско перешло Дунай. Пылкое воображение Пушкина уже рисовало перед ним обольстительные картины предстоящих событий. Он видел быстрый полет русских орлов над Балканами, слышал боевые клики, весело внимал уже оглушительному шуму падения ветхого Стамбула и радостно приветствовал зарю свободы, занимающуюся над этой святой классической страной. Желание его принять участие в военных действиях, однако, не могло исполниться: без сведений и необходимых приготовлений для военного дела нельзя было разделить славу войны – и ему было отказано. Бенкендорф писал ему, впрочем: «Государь благосклонно принял ваш вызов, но изволил отозваться, что так как все места в армии уже заняты, то Его Величество воспользуется первым случаем употребить отличные дарования ваши на пользу отечества».

«Знаете ли, что бы я сделал на вашем месте? – сказал Пушкину один из знакомых. – Я бы предпочел поездку на Кавказ, в армию Паскевича, в страну, служившую колыбелью человеческого рода, где еще звучит эхо библейских преданий. Один переезд через кавказские заоблачные выси сколько развил бы перед вами красок, неуловимых теней и высоких мыслей! Ведь и брат ваш на Кавказе».

Этот разговор, напоминание о брате Левушке, служившем тогда офицером в Нижегородском драгунском полку и, наконец, надежда увидеться с Николаем Раевским и со многими старыми друзьями, находившимися в армии Паскевича, решили дело. Едва переждав зиму, Пушкин выехал на Кавказ и 15 мая 1829 года был уже в Ставрополе.

«Желание видеть войну и страну малоизвестную, – говорит сам Пушкин, – побудило меня просить позволения приехать в армию. Таким образом видел я блестящую войну, конченную в несколько недель и увенчанную переходом через Саган-Лу и взятием Арзерума». Во время этой поездки Пушкин начал свой путевой журнал, и, впоследствии, издал его под заглавием «Путешествие в Арзерум».

«В Ставрополе, – говорит Пушкин, – я увидел на краю неба облака, поразившие мой взор ровно за девять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это – снежные вершины Кавказской цепи». Отсюда, через Георгиевск, Пушкин заехал на горячие воды и нашел в них большую перемену. «В мое время, – говорит он, – ванны находились в лачужках, наскоро построенных, источники, большей частью, в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склону Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи выложены камнем, на стенах прибиты предписания от полиции, везде порядок, чистота, красивость... Признаюсь, кавказские воды представляют ныне более удобств, но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми я бывало карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь бывало сживал со мною Александр Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бештау чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и, наконец, исчезал во мрака...»

На другой день Пушкин отправился в Екатериноград, откуда начинается уже Военно-Грузинская дорога. Набеги горцев делали ее опасной, и наши путешественники ехали дальше до самого Тифлиса уже с конвоем. Сам Пушкин говорит, что незадолго до их проезда поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. «Что делать с таким народом!» – восклицает Пушкин. В Тифлисе он пробыл лишь несколько дней, торопясь как можно скорее настигнуть действующий корпус. Но его пребывание в городе не прошло незамеченным. «Надежды наши исполнились, – писалось в “Тифлиских ведомостях”, – Пушкин посетил Грузию. Читающая публика соединяет самые приятные надежды с пребыванием Александр Сергеевича в стане кавказских войск и вопрошает, чем любимый поэт наш, свидетель кровавых битв, подарит нас из стана военного? Подобно Горацию, поручавшему друга своего опасной стихии моря, мы просим судьбу сохранить нашего поэта среди ужасов брани».

Из Тифлиса до Гумры Пушкин сделал переезд верхом, ночевал на казачьем посту и наутро, выйдя из палатки, с невольным изумлением остановился перед чудной картиной колоссальной горы, которая на ясном безоблачном небе казалась ему огромным шатром, увенчанным серебряным куполом. На вопрос: «Что это за гора?» – ему отвечали: «Арарат». «Как сильно действие звуков! – восклицает Пушкин, – жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни, и врана и голубицу, излетающих, как символ казни и примирения... Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное, солнце сияло. “Вот и Арпачай”, – сказал мне казак.

Арпачай! Наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не

видел я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моей любимой мечтой. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заповедную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван; я все еще находился в России...»

В Карсе Пушкин узнал, что лагерь Паскевича находится всего в двадцати пяти верстах, и тринадцатого утром был уже в палатке своего старинного друга генерала Раевского, командовавшего тогда Нижегородским драгунским полком. Пушкин приехал вовремя, так как в тот же день войска получили повеление идти вперед. «Обедая у Раевского, – говорит он, – слушал я молодых генералов, рассуждающих о движении, им предписанном. Генерал Бурцев отряжен был влево, по большой арзерумской дороге, прямо против турецкого лагеря; между тем, как все прочее войско должно было идти правой стороной в обход неприятеля. Я ехал с Нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским, с которым уже несколько лет не видался. Настала ночь; мы остановились в долине, где все войско имело привал. Здесь я имел честь быть представлен графу Паскевичу.

Я нашел графа дома, перед бивуачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чуждый военному искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту. Здесь увидел я нашего Вольховского*, запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною, как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненного в прошлом году;

* Тогда обер-квартирмейстером Кавказского корпуса был Вольховский – воспитанник Лицея, одного выпуска с Пушкиным.

он любим и уважаем, как добрый товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменялись, как быстро уходит время! Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке».

Таким образом мечты поэта, манившие его в пустынную Азию, наконец исполнились. Он видел край, где совершилось так много замечательных событий в древности, и был среди неустрашимой горсти наших войск, творивших чудеса под знаменами юного полководца, находившего время посреди своих великих забот оказывать поэту лестное внимание. И Пушкин имел случай не раз удостовериться в том, что музы русской поэзии были знакомы победителю не менее самой войны.

«На заре, — продолжает Пушкин, — войско двинулось. Мы подъехали к горам, поросшим лесом. Мы въехали в ущелье. Драгуны говорили между собою: смотри, брат, держись — как раз картечью хватят. В самом деле, местоположение благоприятствовало засадам, но турки, отвлеченные в другую сторону движением генерала Бурцева, не воспользовались этими выгодами. Мы благополучно прошли опасное ущелье и стали на высотах Саган-Лу, в десяти верстах от неприятельского лагеря. Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами. Снег лежал в оврагах.

Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с Семичевым^{*} посмотреть новую для меня картину. Мы встретили раненого казака: он сидел, шатаясь на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его. “Много ли турок?” — спросил Семичев. “Свиньем валит, ваше благородие”, — отвечал один

^{*} Майор Нижегородского драгунского полка.

из них. Проехав ущелье, вдруг увидели мы на склоне противоположной горы до двухсот казаков, выстроенных в лаву, и над ними около пятисот турок. Казаки отступали медленно; турки наезжали с большой дерзостью, прицеливались шагах в двадцати и, выстрелив, скакали назад. Их высокие чалмы, красивые доломаны и блестящий убор коней составляли резкую противоположность с синими мундирами и простой сбруей казаков. Человек пятнадцать наших было уже ранено. Подполковник Басов послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки было смешались; но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставив на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный.

Выстрелы утихли. Орлы, спутники войск, поднялись над горою, с высоты высматривая себе добычу. В это время показалась толпа генералов и офицеров: граф Паскевич приехал и отправился на гору, за которой скрывались турки. Они были подкреплены четырьмя тысячами конницы, скрытой в лощине и оврагах. С высоты горы нам открылся турецкий лагерь, отделенный от нас оврагами и высотами. Мы возвратились поздно. Проезжая нашим лагерем, я видел наших раненых, из которых человек пять умерло в ту же ночь и на другой день. Вечером навестил я молодого Остен-Сакена, раненного в тот же день в другом сражении».

Пушкин не был только зрителем этого сражения; он сам вмешался в казацкую цепь и, схватив пику убитого казака, устремился на турок. Семичев, которому Раевский именно поручил следить за Пушкиным, с трудом вывел его из рукопашной свалки. Но можно себе представить, как наши донцы были изумлены, увидев перед собою незнакомого героя в круглой шляпе и в бурке. Пушкин один в целом лагере носил статское платье и писал в Москву,

что солдаты, видя его верхом, величают пастором. Впечатления этого дня вылились из-под пера поэта прекрасным стихотворением, озаглавленным им «Делибаш».

Между тем 18 июня лагерь передвинулся на другое место, а 19 и 20 произошли генеральные сражения, в которых были разбиты сераскир и Гагки-паша. Вот как описывает Пушкин впечатления, вынесенные им в эти два кровавые дня:

«19 июня, едва пушка разбудила нас, все в лагере пришло в движение. Генералы поехали по своим постам. Полки строились; офицеры становились у взводов. Я остался один, не зная в какую сторону ехать, и пустил лошадь на волю Божию. Я встретил генерала Бурцева, который звал меня на левый фланг. Что такое левый фланг? – подумал я и поехал далее. Я увидел генерала Муравьева, расставлявшего пушки. Вскоре показались делибашы и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы. Турки повалили в сторону и скрылись за возвышением. Я увидел графа Паскевича, окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отдельное от них глубоким оврагом. Граф послал П. осмотреть овраг. П. поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по горе и по лощине. На левом фланге, куда звал меня Бурцев, происходило жаркое дело. Перед нами (против центра) скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татары наши окружили их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский остановился на краю оврага. Два эскадрона, отделяясь от

полка, занеслись в своем преследовании; они были выручены полковником Симоничем.

Сражение утихло. Турки у нас на глазах начали копать землю и таскать камни, укрепляясь по своему обыкновению. Их оставили в покое. Мы слезли с лошадей и стали обедать, чем Бог послал. В это время к графу привели несколько пленников; один из них был жестоко ранен. Их расспросили. Около шести часов войска опять получили приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами и стали отступать. Конница наша была впереди, мы стали спускаться в овраг. Земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда уланский полк переехал бы через меня. Однако Бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали; казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросались в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги: они уже не стреляли; по крайней мере ни одна пуля не просвистала мимо моих ушей. Первые в преследовании были наши татарские полки, которых, лошади отличались быстротой и силой. Лошадь моя, закусив повод, от них не отставала: я насилу мог ее сдержать. Она остановилась перед трупом молодого турка, лежавшего поперек дороги. Ему, казалось, было лет восемнадцать; бледное девическое лицо не было обезображено; чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом; скоро меня нагнал Раевский. Он написал карандашом на клочке бумаги донесение графу Паскевичу о совершенном поражении неприятеля и поехал далее. Я следовал за ним издали. Настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждом шагу. Граф Паскевич повелел не прекращать

преследования и сам им управлял. Меня обогнали конные наши отряды. Я увидел полковника Полякова, начальника казацкой артиллерии, игравшей в тот день важную роль, и с ним вместе прибыл в оставленное селение, где остановился граф Паскевич, прекративший преследование по причине наступившей ночи.

Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных. Тут находились почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора Розы; речка шумела во мраке. В это самое время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всей своей свитой. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в тридцати верстах от того места, где мы ночевали. Дорога полна была конных отрядов. Только что успели прибыть мы на место, как вдруг небо осветилось будто метеором, и нам послышался глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, была взорвана; в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили несколько казаков.

Вот все, что в то время я успел увидеть. Вечером я узнал, что в этом сражении разбит сераскир арзерумский, шедший на присоединение к Гагки-паше с тридцатью тысячами войска. Сераскир бежал к Арзеруму; войско его, переброшенное за Саган-Лу, было рассеяно, артиллерия взята, а Гагки-паша один остался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему времени распорядиться.

На другой день, в пятом часу, лагерь проснулся и получил приказание выступать. Выйдя из палатки, я встретил графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня. “Вы очень устали вчера?” – “Немного, граф”. – “Мне вас очень жаль, потому что мы опять идем против паши и должны будем преследовать неприятеля еще тридцать верст”.

Мы тронулись и к восьми часам пришли на возвышение, с которого лагерь Гагки-паши виден был, как на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всех своих батарей. Между тем в лагере их заметно было большое движение. Усталость и утренний жар заставили многих из нас слезть с лошадей и лечь на свежую траву. Я опустил поводья вокруг руки и сладко заснул в ожидании приказа идти вперед. Через четверть часа меня разбудили. Все было в движении. С одной стороны колонны шли на турецкий лагерь; с другой – конница готовилась преследовать неприятеля. Я поехал было за Нижегородским полком, но лошадь моя хромала, я отстал. Мимо меня пронесся уланский полк. Потом Вольховский проскакал с тремя пушками. Я очутился один в лесистых горах. Мне попался навстречу драгун, который объявил, что лес наполнен неприятелем. Я воротился. Я встретил генерала Муравьева с пехотным полком. Он отрядил одну роту в лес, чтобы его очистить. Подъезжая к долине, увидел я необыкновенную картину. Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненный смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умиравший бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга. В долине собрано было человек пятьсот пленных. Несколько раненых турок подзывали меня знаками, вероятно, принимая меня за лекаря и требуя помощи, которой я не мог им дать. Из леса вышел турок, зажимая свою рану окровавленной тряпкой. Солдаты подошли к нему с намерением его приколоть, может быть из человеколюбия. Но это слишком меня возмутило: я заступился за бедного турка и насилу привел его, изнеможенного и истекающего кровью, к кучке его товарищей. При них был полковник А. Он курил дружелюбно из их трубок, несмотря на то, что были слухи о чуме, будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели спокойно, разговаривая между собою.

Почти все были молодые люди. Отдохнув, пустились мы далее. По всей дороге валялись тела. Верстах в пятнадцать нашел я Нижегородский полк, остановившийся на берегу речки, посреди скал. Преследование продолжалось еще несколько часов. К вечеру пришли мы в долину, окруженную густым лесом, и наконец мог я выспаться вволю, проспав в эти два дня более восьмидесяти верст. На другой день войска, преследовавшие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь. 24 июня утром пошли мы к Гассан-Кале, древней крепости, накануне занятой князем Бековичем. Она была в пятнадцати верстах от места нашего ночлега. Длинные переходы утомили меня. Я надеялся отдохнуть, но вышло иначе.

Перед выступлением конницы явились в наш лагерь армяне, живущие в горах, требуя защиты от турок, которые три дня тому назад отогнали их скот. Полковник Анреп (командир уланского полка), не разобрав, чего они хотели, вообразил, что турецкий отряд находится в горах, и с одним эскадронном уланского полка поскакал в сторону, дав знать Раевскому, что три тысячи турок находятся в горах. Раевский отправился вслед за ним, чтобы подкрепить его в случае опасности. Я считал себя прикомандированным к Нижегородскому полку и с великой досадой поскакал на освобождение армян. Проехав верст двадцать, въехали мы в деревню и увидели несколько отставших улан, которые, спешась, с обнаженными саблями преследовали несколько кур. Здесь один из поселян растолковал Раевскому, что дело шло о трех тысячах волов, три дня назад отогнанных турками и которых весьма легко будет догнать дня через два. Раевский приказал уланам прекратить преследование кур и послал полковнику Анрепу повеление воротиться. Мы поехали обратно и, выбравшись из гор, прибыли под Гассан-Кале. Но таким образом дали мы сорок верст крюку,

чтобы спасти жизнь нескольким армянским курам, что вовсе не казалось мне забавным».

Две знаменитые битвы и взятие Гассан-кале решили, как известно, судьбу Арзерума. 27 июля город сдался. Пушкин отправился в город вместе с Раевским. «Турки, – говорит он, – с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас, армяне шумно толпились в тесных улицах; их мальчики бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя: “Христианин! Христианин!” Мы подъехали к крепости, куда входила наша артиллерия. Пробыв в городе часа два, я возвратился в лагерь. Сераскир и четверо пашей, взятые в плен, находились уже тут. Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостью говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. П. дал мне титул поэта. Паша сложил руки на груди и поклонился мне, сказав через переводчика: “Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт – брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных, и между тем, как мы, бедные, заботимся о славе, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются”.

Восточное приветствие паши всем нам очень полюбилось. Я пошел взглянуть на сераскира. При входе в его палатку встретил я его любимого пажа, черноглазого мальчика, лет четырнадцати, в богатой арнаутской одежде. Сераскир, седой старик, наружности самой обыкновенной, сидел в глубоком унынии. Около него была толпа наших офицеров. Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиной в руках и с мехом за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был “брат мой”, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали».

В Арзеруме Пушкин жил в сераскирском дворце, в комнатах, где помещался гарем. Дворец казался разграбленным. Сераскир, предполагая бежать, вывез из него все,

что только мог: диваны были ободраны, ковры сняты. Тем не менее дворец представлял собой картину вечно оживленную, и там, где угрюмый паша молчаливо курил посреди своих жен и отроков, там его победитель получал донесения о победах своих генералов, раздавал пашалыки, разговаривал о новых романах.

С падением Арзерума война казалась оконченной, и Пушкин стал собираться в обратный путь. «19 июля, – говорит он, – пришел я проститься с графом Паскевичем и нашел его в сильном огорчении. Получено было известие, что генерал Бурцев был убит под Бейбуртом. Жаль было храброго Бурцева; но это происшествие могло быть печально и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак, война возобновилась. Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий, но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования во след блестящего героя по завоеванным пустыням Армении. В тот же день я оставил Арзерум».

Нельзя умолчать, однако, что есть и другое свидетельство одного современника, который говорит, что Пушкин не совсем по своей охоте должен был оставить Армению. Потокский рассказывает, что поводом к этому послужили постоянные сношения Пушкина с декабристами, которых в армии Паскевича было немало и которые, в большинстве, были его лицейскими товарищами. В Арзеруме фельд-маршал позвал его к себе и сказал: «Мне жаль вас, Пушкин; жизнь ваша дорога для России, а здесь вам делать нечего; советую вам уехать обратно из армии, и я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой». Пушкин порывисто поклонился и выбежал из палатки. В тот же день он отправился в Гумры.

Сам Пушкин, по возвращении в Тифлис, на вопрос одного знакомого, отчего он так скоро возвратился из армии, отвечал с обычной живостью: «Мне надоело ходить на помочах у Паскевича. Я хотел воспеть геройские подвиги наших молодцов-кавказцев – это славная часть нашей родной эпопеи; но он меня не понял и постарался выпроводить из армии. Вот я и приехал».

Плодом поездки его на Кавказ явилась поэма «Галуб»; она навеяна на него мрачными развалинами исторического Татартуба, придорожными, могильными памятниками и оставленными «хищным внукам в память хищных предков», и уже более близким знакомством с бытом и характером горцев. Зато и какая громадная разница между «Кавказским пленником» и «Галубом» – словно в разные эпохи и разными поэтами написаны обе эти поэмы, так широко и плодотворно развернулся в это десятилетие творческий гений Пушкина.

Чтобы судить о верности передаваемых им картин, вспомним, как Пушкин описывает, например, в своем путевом журнале осетинские похороны, которых ему довелось быть случайным свидетелем. «Около сакли, – говорит он, – толпился народ; на дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб; женщины стояли смиренно. Мертвеца вынесли на бурке, положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойного, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом; тело должно было быть похоронено верстах в тридцати от аула...»

Теперь посмотрите, как эта характерная сцена, произведшая на Пушкина глубокое впечатление, воспроизведена им в его «Галубе»:

Не для бесед и ликований,
 Не для кровавых совещаний,
 Не для расспросов кунака,
 Не для разбойничьей потехи
 Так рано съехались адехи
 На двор Галуба-старика.
 В нежданной встрече сын Галуба
 Рукой завистника убит
 Вблизи развалин Татаргуба.
 В родимой сакле он лежит.
 Обряд творится погребальный,
 Звучит уныло песнь муллы.
 В арбу впряженные волю
 Стоят пред саклею печальной.
 Двор полон тесною толпой.
 Подъемлют гости скорбный вой
 И с плачем бьют в нагрудны брони,
 И, внемля шум небоевой,
 Мягутся спутанные кони.
 Все ждут. Из сакли наконец
 Выходит между жен отец.
 Два уздея за ним выносят
 На бурке хладный труп. Толпу
 По сторонам раздаться просят.
 Слагают тело на арбу.
 И с ним кладут снаряд воинский:
 Не разряженную пищаль,
 Колчан и лук, кинжал грузинский
 И шашки крестовую сталь*,
 Чтобы крепка была могила,
 Где храбрый ляжет почивать,
 Чтоб мог на зов он Азраила
 Исправным воином восстать.

* Трудно сказать, что Пушкин разумел под именем «крестовая сталь», вероятнее всего предположить, что это лучший сорт кавказских шашек, на которых выбиты кресты – как памятники крестовых походов.

В дорогу шествие готово,
 И тронулась арба. За ней
 Адехи следуют сурово,
 Смирно молча пыл коней...
 Уж потухал закат огнистый,
 Златя нагорные скалы,
 Когда долины каменистой
 Достигли тихие волю.
 В долине той враждою жадной
 Сражен наездник молодой,
 Там ныне в тень могилы хладной
 Он ляжет, бледный и немой...

К числу стихотворений, навеянных на поэта Кавказом, следует отнести также «Подражание Корану», так грандиозно передающее дух ислама и красоты арабской поэзии; подражание Анакреону – «Кобылица молодая, честь кавказского тавра»; подражание Гафизу. – «Не пленяйся бранной славой, о красавец молодой»; лирические произведения – как, например, «Кавказ», «Монастырь на Казбеке», «Обвал» и, наконец, полные глубокой задушевности стихи:

На холмы Грузии легла ночная тень,
 Шумит Арагва предо мною...

Или:

Не пой, красавица, при мне
 Ты песен Грузии печальной,
 Напоминают мне оне
 Другую жизнь и берег дальний...

и несколько других, как например «Был и я среди донцов, гнал и я османов шайку», навеянных случаем, встречей, минутной вспышкой вдохновения.

Из Тифлиса Пушкин ехал в сопровождении донских казаков, отслуживших очередь и возвращавшихся на родину, и потом, когда предстали перед ним широкие степи Дона и величавый образ казачьего народа, вечно готового

к битвам, он вспомнил своих старых соратников, и это настроение поэта вылилось в художественном произведении:

Блеща средь полей широких,
Вот он льется!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далеких
Я привез тебе поклон.
Как прославленного брата
Реки знают тихий Дон:
От Аракса и Евфрата
Я привез тебе поклон.
Отдохнув от злой погони,
Чуя родину свою,
Пьют уже донские кони
Арпачайскую струю.
Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.

Наконец, заключительной песней Пушкина, довершившей, так сказать, эту вдохновенную передачу впечатлений славной войны, был «Олегов щит» – легенда, полная высокой поэзии и образности.

Когда ко граду Константина
С тобой, воинственный варяг,
Пришла славянская дружина
И развила победный стяг,
Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щит булатный
На Цареградских воротах.
Настали дни вражды кровавой;
Твой путь мы снова обрели.
Но днесь, когда мы вновь со славой
К Стамбулу грозно притекли,

Твой холм потрясся с бранным гулом,
Твой стон ревнивый нас смутил,
И нашу рать перед Стамбулом
Твой старый щит остановил.

По возвращении в Петербург воспоминания о Кавказе никогда не покидали Пушкина. В одной из своих поэм – «Домик в Коломне» – он, как бы случайно, шутя, вспоминает знаменитый Ширванский полк и несколькими чертами с поразительной верностью рисует нам этот полк именно таким, каким он был в грозный день Ахалцихского штурма.

У нас война! Красавцы молодые,
Вы хрипуны (но хрип ваш приумолк),
Сломали ль вы походы боевые?
Видали ль в Персии Ширванский полк?
Уж люди! Мелочь, старички кривые,
А в деле всяк из них, что в стаде волк,
Все с ревом так и лезут в бой кровавый...
Ширванский полк могу сравнить с октавой.

В другом стихотворении – «19 октября», посвященном лицейской годовщине, поэт особенно тепло и душевно обращается к одному из своих отсутствующих друзей:

Я жду тебя, мой запоздалый друг –
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о Гете, о любви.

27 января 1837 года Пушкина не стало: он пал на дуэли, смертельно раненный кавалергардским офицером Дантесом. Пуля, попавшая в правый бок, остановилась в печени. Страдания его были ужасны, но твердость духа изумляла даже врачей. Арендт говорит, что он был в тридцати сражениях, видел много умирающих, но мало видел подобных. Последние минуты Пушкина были услаждены

высоким вниманием императора Николая Павловича, почтившего его собственноручной запискою: «Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете, – писал ему государь, – то посылаю тебе мое прощение и последний совет – умереть христианином. О жене и детях не беспокойся: я беру их на свои руки». Записку эту привез ему Жуковский. «Скажи государю, – ответил Пушкин, – что мне жаль умереть: был бы весь его. Скажи, что я желаю ему счастья в его сыне, в его России»...

Между тем слух о катастрофе разнесся по всему Петербургу, и со всех сторон города экипажи и пешеходы длинной вереницей потянулись на Мойку, где близ Певческого моста, в доме княгини Волконской, была квартира поэта. Курьеры то и дело подъезжали к подъезду и скакали обратно, отвозя государю известия о состоянии больного. Народ два дня ночевал на улице. И вот, 29 января, в три часа пополудни, опять подскочила курьерская тройка. Молодой флигель-адъютант быстро вбежал на лестницу и также быстро вышел обратно, расстроенный, заплаканный. Толпа остановила его. «Неужели все кончено?» – «Все, все; молитесь за упокой души Александра», – ответил молодой офицер, и тройка вихрем помчалась по направлению к Зимнему дворцу.

Прах Пушкина покоится в Псковской губернии, в Святогорском Успенском монастыре, всего в четырех верстах от любимого им села Михайловского. Могила его – за алтарем главной каменной церкви, возле самой монастырской ограды, мимо которой идет почтовая дорога в Новоржев. Старые липы осеняют черный мраморный памятник с простой надписью: «Александр Сергеевич Пушкин». Он стоит высоко на пьедестале, окруженный железной решеткой, и виден весь через каменную ограду кладбища.

Кавказ откликнулся также на кончину своего любимого певца, в лице молодого мусульманского поэта Сабухия*, написавшего прекрасное стихотворение «Смерть Пушкина». Нельзя не отнестись с симпатией к самой идее, побудившей молодого азиата быть отголоском той скорби, которую вызвала во всех концах России весть о кончине великого писателя. Замечательно также, что перевод этих стихов на русский язык сделан Марлинским (Бестужевым), и что это было последнее произведение пера его: через несколько дней он был убит в сражении.

«Бахчисарайский фонтан, – так оканчивается это стихотворение, – шлет тебе с весенним зефиром благоухание роз своих, а седовласый старец Кавказ отвечает на песни твои стоном в стихах Сабухия».

* Это псевдоним нухинского жителя Мирзы Фатали Ахундова.

ПОЭТ ПОЛЕЖАЕВ

Наступил май 1830 года. В Дагестане готовилась большая койсубулинская экспедиция. Три отряда, Скалона, фон Дистерло и Бутырский полк Дурова, уже стояли под Эрпилями; ожидали только прибытия с линии генерал-лейтенанта барона Розена, чтобы начать военные действия.

Розен выступил из Грозной с батальоном Московского полка и батальоном тарутинцев, при которых находились восемь орудий и две сотни линейных казаков. Он прошел через Внезапную и пятнадцатого мая вступил в шамхальские владения.

В рядах Московского полка, с тяжелым солдатским ружьем, во всем походном снаряжении, шел известный русский поэт Полежаев. Это был молодой человек лет двадцати четырех, небольшого роста, худой, с добрыми и симпатичными глазами. Во всей фигуре его не было ничего воинственного; видно было, что он исполнял свой долг не хуже других, но что военная служба вовсе не была его предназначением. Биография Полежаева, его произведения, носившие на себе печать несомненного и крупного дарования, и вообще все подробности, касающиеся жизни и деятельности этого талантливой человека, в свое время были помещены в наших журналах, и потому, без сомнения, известны читающей публике. Но тем не менее здесь, на страницах «Кавказской войны», будет не лишним воскресить в памяти читателей образ поэта, честно прослужившего

три года в рядах Кавказской армии и воспевшего в своих стихах дела давно минувших дней Кавказа.

Александр Иванович Полежаев, как известно, был побочным сыном богатого пензенского помещика и приписан к саранскому мещанскому обществу. Одиннадцати лет Полежаева отвезли в Москву в один из модных пансионатов, а затем он поступил в Московский университет, где жизнь его протекала в кутежах и разгулах с товарищами. Нужно сказать, впрочем, что это была обычная студенческая жизнь того времени, и в этом отношении Полежаев ничем не выделялся из среды своих товарищей-студентов. Беда грозила ему с другой стороны, откуда он ее не ожидал.

В бытность свою в университете Полежаев начал писать и печатать свои стихотворения, которые сразу отвели ему не последнее место между поэтами пушкинской школы. К сожалению, не все его произведения были удобны к печати. В июне 1826 года, когда двор находился в Москве для торжества коронации, по рукам стала ходить рукописная юмористическая поэма его «Сашка», заключавшая в себе множество строф очень нескромных, полных цинизма и смелых выражений. В другое время шуточная поэма, быть может, и не обратила бы на себя особенного внимания, но в половине 1826 года, в мрачное время, последовавшее за событиями четырнадцатого декабря, когда каждому слову придавалось распространенное значение и политический характер, дело приняло совсем другой оборот: поэма была доведена до сведения императора Николая Павловича.

Дальнейший ход дела, по рассказу самого Полежаева, был следующий:

Однажды ночью, часа в три, ректор разбудил Полежаева, велел ему одеться в мундир и сойти в правление. Там его ждал попечитель, который без всяких объяснений пригласил Полежаева в свою карету и увез к министру народного просвещения. Министр повез его в кремлевский

дворец. Несмотря на то, что был только шестой час утра, приемный зал был наполнен придворными и высшими сановниками. Когда Полежаева ввели в кабинет государя, император стоял, облокотившись на бюро, и разговаривал с министром; в руке его была тетрадь. Он бросил на вошедшего испытывающий взгляд и спросил:

– Ты ли сочинил эти стихи?

– Я, – отвечал Полежаев.

– Вот! – продолжал государь, обратившись к министру. – Вот я вам дам образчик университетского воспитания, я вам покажу, чему учатся там молодые люди. Читай эту тетрадь вслух, – прибавил он, обращаясь снова к Полежаеву.

Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд государя неподвижно остановился на нем.

– Я не могу, – сказал Полежаев.

– Читай.

Это вернуло ему силы, и Полежаев бегло дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак рукой министру. Министр закрывал глаза.

– Что скажете? – спросил государь по окончании чтения. – Я положу предел этому разврату, это все еще следы, последние остатки: я их искореню. Какого он поведения?

– Превосходнейшего, ваше величество, – ответил министр.

– Этот отзыв тебя спас, – сказал государь, – но наказывать тебя надобно для примера другим. Хочешь в военную службу?

Полежаев молчал.

– Я тебе даю военной службой средство очиститься. Что же, хочешь?

– Я должен повиноваться, – отвечал Полежаев. Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав: «От тебя зависит твоя судьба, если я забуду, то можешь мне писать», – поцеловал его в лоб.

От государя Полежаева свели к Дибичу, который жил тут же, во дворце. Дибич спал; его разбудили; он вышел и, прочитав бумагу, спросил флигель-адъютанта:

– Это он?

– Он, ваше превосходительство.

– Что же, доброе дело, послужите, может быть дослужитесь и до фельдмаршала.

От Дибича Полежаева свезли прямо в лагерь и определили в Бутырский пехотный полк унтер-офицером с правами личного дворянства, приобретенными образованием.

С этого времени начинается новая жизнь Полежаева – жизнь, к несчастью, полная суровых и непрерывных испытаний, которые окончательно сломили силы молодого человека и привели к преждевременной смерти.

Ошибкой было определение Полежаева в полк, стоявший в самой Москве, где все напоминало ему прежнюю бесшабашную жизнь и где он поминутно мог наткнуться и на товарищей, и на лиц, знавших его в ином положении. Очутившись в чуждой ему среде, с ее своеобразным складом жизни, выбитый из прежней своей колеи, Полежаев не имел в себе достаточно воли и нравственных сил, чтобы найтись в этих новых для него условиях, так как, очевидно, смотрел на свое определение на военную службу только как на суровое наказание за шаловливую вольность своей юношеской музы, а не как на возможность, примирившись со службой, продолжать свою жизненную дорогу на этом поприще. Личное свое поведение Полежаев, очевидно, относил к области своей собственной воли, а потому и в мундире солдата продолжал разгульный образ жизни студенческого бурша. Военное начальство смотрело, однако, иначе и, не имея возможности скрывать его поведение, аттестовало дурно. По всей вероятности это и было причиной, почему два письма Полежаева к государю остались без ответа. Тогда Полежаев бежал из полка, чтобы лично подать новую просьбу. Одумался ли он и вернулся

назад добровольно или был доставлен в полк как дезертир, — об этом говорят различно, но так или иначе, а Полежаев был предан военному суду, который, по принципам, не входил в рассмотрение психологических причин, вынудивших совершить проступок, а просто за самовольную отлучку определил разжаловать Полежаева в рядовые с лишением дворянского достоинства. Этот приговор, ставивший Полежаева уже под ферулу телесных наказаний, окончательно разбил надежды и жизнь молодого поэта. Неправы те, которые говорят, что ему, будто бы, не было более выхода. Выход мог бы быть в неуклонном, добросовестном исполнении обязанностей и в хорошем поведении; но, к сожалению, Полежаев впал в мрачное отчаяние, безрассудно наделал дерзостей фельдфебелю, снова бежал, был пойман и, по строгости тогдашних военных законов, подлежал уже действительно прогнанию сквозь строй и наказанию шпицрутенами. Он сознавал это и, ожидая приговора, решился даже на самоубийство.

Последний день
Сверкал мне в очи.
Последней ночи
Встречал я тень,
И в думе лютой
Все решено;
Еще минута —
И... свершено.

Но от позорного и страшного наказания избавило его на этот раз великодушие императора Николая Павловича. Полежаеву вменили в наказание только долговременный арест и перевели из Бутырского полка в Московский, находившийся в той же бригаде. К этому времени и относится прекрасное стихотворение Полежаева «Провидение»:

Я погибал;
Мой злобный гений
Торжествовал.

Московским полком в то время командовал полковник Любавский, человек добрый и просвещенный, который принял живое участие в судьбе Полежаева. Но это уже запоздало. Полежаев, потерявший последние душевные силы, при недостатке характера и воли, неудержимо стремился вниз по наклонной плоскости. Напрасно говорят, что сослуживцы сторонились от него ввиду его прошлого. Не это прошлое, а настоящее поэта было тому причиной. Белинский недаром говорит, что Полежаев к своей поэтической известности присовокупил другую известность, которая стала проклятьем всей его жизни, причиной ранней утраты таланта и преждевременной смерти. Да он и сам говорит о себе:

И я жил — но я жил
На погибель свою...
Буйной жизнью убил
Я надежду мою...
Не расцвел — и отцвел
В утре пасмурных дней;
Что любил, в том нашел
Гибель жизни своей.

Все это не могло не отражаться и на его произведениях. Особенность его поэзии состоит в том, что она почти всегда была тесно связана с его жизнью, а жизнь его представляла грустное зрелище талантливой природы, подавленной дикой необузданностью страстей. Лучшие его произведения были не что иное, как поэтическая исповедь его безумной судорожной жизни. Можно удивляться только, как в светлые минуты душевного умиления Полежаев еще обретал в себе столько тихого и глубокого вдохновения, чтобы так прекрасно выразить одно из величайших преданий евангелия, «Грешница», или написать «Песнь пленного ирокеза» и тому подобное.

В марте 1829 года, то есть на третий год солдатской службы Полежаева, четырнадцатая дивизия, в состав которой

входил Московский полк, отправлена была на усиление Кавказского корпуса, по случаю турецкой войны, и таким образом Полежаев вместе с полком попал на Кавказ. В военных действиях ему, однако, не пришлось участвовать; только вторая и третья бригады посланы были в Грузию, а полки Московский и Бутырский расположились на правом фланге для обороны Кубанской линии. Полежаеву пришлось стоять в Александрии, между Пятигорском и Ставрополем, в местности, недавно служившей ареной кровавой деятельности Джембулата. Дымилась еще сожженная им Нездобная, лежали в развалинах казацкие хутора – но туча уже пронеслась, и по Кубани царствовало сравнительное спокойствие. Вот как рисует перед нами картину этого затишья сам Полежаев:

Молчаньем мрачным и печальным
 Окрестность битв обложена,
 И будто миром погребальным
 Убита бранная страна.
 Бывало, бодрый и безмолвный
 Казак на пагубные волны
 Вперяет взор сторожевой:
 Нередко их знакомый ропот
 Таил коней татарских топот
 Перед тревогой боевой.
 И вот толпой ожесточенной
 Врывались злобные враги
 В шатры защиты изумленной –
 И обагрjali глубь реки
 Горячей кровью казаки.
 Но миновало время брани,
 Смирился дерзостный джигит,
 И редко, редко по Кубани
 Свинец убийственный свистит.

Эрпипинский поход 1830 года был, таким образом, первым военным походом, в котором пришлось участвовать

Полежаеву. Характер его в это время начал было во многом уже изменяться к лучшему, но безвыходное горе по-прежнему не покидало поэта. При этом и красоты степных безлесных пространств Северного Кавказа, вообще вдохновлявшего наших поэтов, далеко не привлекательны, почему и не восторгали собой Полежаева и не пробуждали в нем воображения, слишком охлаждаемого прозой жизни. Плодом похода его в Дагестан явилась, однако, поэма «Эрпели»; но литературное достоинство ее не велико: все произведение растянуто, стих местами вял, картины слабы, хотя и стенографически верны. Вот как, например, рисует Полежаев выступление из Грозной и личность начальника отряда, барона Розена, одного из славных участников войны 1812 года.

Едва под Грозною возник
 Эфирный город из палаток,
 И раздался приветный крик
 Учтивых егерских солдаток:
 «Вот булки, булки, господа!»
 И чистя ружья на просторе,
 Богатыри, забывши горе,
 К ним набежали, как вода;
 Едва иные на форштадте
 Найти успели земляков,
 И за беседу о свате
 Иль о семействе кумовьев,
 В сердечном русском восхищеньи
 И обоюдном поздравленьи
 Вкусили счастья сполна
 За квартой красного вина;
 Как вдруг, о, тягостная служба!
 Приказ по лагерю идет
 Сейчас готовиться в поход...

 Внезапно ожили солдаты
 Везде твердят: «В поход, в поход!»

Готовы, «Здравствуйте ребята!» –
«Желаем здравия!» – И вот –

Перед войсками является Розен:

Его серебристые седины
Приятны старым усачам:
Они являют их глазам
Давно минувшие картины,
Глубоко памятные дни!
Так прежде видели они
Багратионов пред полками,
Когда, готовя смерть и гром,
Они под русскими орлами
Шли защищать Романов дом,
Возвысить блеск своей отчизны,
Или к бессмертью на пути
Могилу славную найти.

Далее поэт рисует картины самого похода:

За переходом переход:
Степями, аулами, горами
Московцы дружными рядами
Идут послушно без забот.
Куда? Зачем? В огонь иль в воду?
Им все равно: они идут,
В ладьях по Тереку плывут,
По быстрой Сунже ищут броду;
Разносит ветер вдоль реки
С толпами ратных челноки;
Бросает Сунжа вверх ногами
Героев с храбрыми сердцами,
Их мочит дождь, их сушит пыль...
Идут
Уже тарутинцы успели
Подробно нашим рассказать,
При том прибавить и прилгать,
Как в Турции они терпели
От пуль и ядер, и чумы,

Как воевали под Аджаром,
И, быть украшенная с жаром,
Пленяли пылкие умы.
Всегда лежавшие на печке,*
Мы в разговоре деловом,
Прошедши вброд еще две речки,
К Внезапной крепости тишком
Пришли внезапно вечерком.

.
Когда из Грозной
Пошли мы, грешные, в поход,
То и не думали, не знали,
Куда судьба нас заведет.
Иные с клятвой утверждали,
Что мы идем на смертный бой
В аул чеченский не мирной.
Другие
Шептали всем, понизя тон,
Что наш второй батальон
Был за Андреевой нещадно
Толпою горцев окружен.
Все пели складно, да не ладно...
.
Теперь, к Внезапной подходя,
Засуетились все безбожно,
«Да где ж второй наш батальон,
Ведь говорят в осаде он?»
«Э, вздор, нагали об осаде;
Он здесь с бутырцами стоит;
Смотрите, ежели в параде
Он нас принять не поспешит».
«Да если здесь, то верно выйдет».
Идет наш первый батальон –

* Московцы в первый раз шли в дело; тарутинцы же побывали в Турции, где в аджарской экспедиции Сакена понесли огромные потери (см. «Кавказская война», том IV).

И что же? Только место видит
 Где был второй
 Но спать пора.
 Как раз раскинули палатки,
 И разрешение загадки
 Все отложили до утра.

Наутро узнали, что второй батальон в отряде Скалона и Бутырский полк с Дуровым давно уже ушли в Дагестан и в ожидании кровавой развязки, поднятой койсубулинцами смуты, стоят под Эрпели. Обещая передать читателям весь ход тогдашних событий, Полежаев говорит:

Я расскажу вам в час досужный
 Об эрпилинской красоте
 И эпизод довольно нужный
 Не пропущу о баранге,
 Бяфир-кумыке, Казанищах,
 Где был второй наш батальон,
 И то что нам поведал он
 Под сенью мирных балаганов:
 Плененье горских пастухов
 Со многим множеством баранов* . . .

Затем Полежаев переходит к описанию военных событий:

Вот наконец мы и пришли
 Под знаменитый Эрпили.
 Картина первая: на ровном
 Пространстве илистой земли
 Стоит в величии огромном
 Аул тавлинский Эрпили.
 Обломки скал и гор кремнистых –
 Его фундамент вековой;
 Аллеи тополей тенистых,
 Краса громады строевой;

* Намеки на действия майора Корганова с отрядами Ефремовича и Скалона.

Везде блуждающие взоры
 Встречают сабли и заборы,
 Плетни и валы; каждый дом –
 Бойница с насыпью и рвом.

 Идут – и вид другой картины:
 Среди возвышенной равнины,
 Загроможденной с двух сторон
 Пирамидальными горами,
 Объявших гордыми глазами
 С начала мира небосклон,
 Разбиты белые палатки...
 Быть может, прежние догадки
 Теперь решились: это он,
 Второй наш добрый батальон!
 Так он свободный, незапертый,
 Как утверждали мы сперва.
 Но вот еще здесь лагерь!..
 Два! И три! – Наш будет уж четвертый*

Но Полежаеву и на этот раз не пришлось участвовать в настоящем деле. А он ждал его – потому что только бой и мог проложить ему путь к утраченной свободе, вернуть ему все, что было им потеряно.

Еще в то время, когда отряд проходил через Внезапную, барон Розен, желая ближе ознакомиться с положением дел, вызвал к себе салаватских и гумбетовских старшин, чтобы узнать об отношении их обществ к имаму. Старшины заявили, что Кази-мулла присылал к ним воззвания, но они отказали ему в содействии. В этом же роде отвечали и акушинцы; за спокойствие эрпелинцев, каранавцев и казанинцев ручался Корганов. Основываясь на всех этих заявлениях, барон Розен пришел к убеждению,

* Первые три лагеря занимались отрядами Скалона, фон Дистерло и Дурова.

что ему не придется иметь дело с поголовным восстанием горцев, и полагал возможным, не прибегая к оружию, покорить упрямых койсубулинцев силой одних увещаний.

Кази-мулла, предвидя опасность, заблаговременно удалился в Балаханы и оттуда обратился к ханше Паху-Бике, прося ее забыть кровавые распри и, во имя святого дела, противодействовать завоеваниям неверных. В этом его поддерживали и другие общества нагорного Дагестана, которые, опираясь на древнюю славу Аварии, выражали желание выступить против русских, но не иначе, как под предводительством самого Нуцал-хана, и клялись, что будут жертвовать своими головами ради аварского дома. Дальновидная Паху-Бике не торопилась, однако же, с ответом. А между тем к четырем отрядам, уже стоявшим под Эрпели, подошел еще полковник Мищенко с апшеронскими ротами, и, таким образом, силы наши возросли до четырех тысяч штыков, тысячи всадников и двадцати шести орудий. Девятнадцатого мая барон Розен произвел первую рекогносцировку и личным осмотром убедился в трудности овладения Гимрами; за высоким и каменистым хребтом, в глубоком ущелье между громадными скалами, на дне страшной пропасти, лежало селение. Подъем на самую вершину горы был еще возможен, но спуск со скалистого, почти отвесного хребта представлял необычайные трудности. Пролегавшая тропа, пригодная только для одних пешеходов, была так крута и обрывалась такими ступенями, что орудия могли спускаться только на канатах, да и то лишь после усиленной разработки дороги. Во время рекогносцировки шла перестрелка. Но едва Розен возвратился в лагерь, как Сурхай-хан аварский представил ему письмо, полученное от койсубулинцев, изъявлявших готовность вступить в переговоры. Сурхай тотчас отправился в их землю, но вернулся ни с чем, так как требования барона Розена не согласовались с желанием койсубулинского народа; а условия, на которых они покорялись, не совместимы были с достоинством и интересами

России. Тогда к койсубулинцам отправился опять Абу-Мусселим; но его поездка не принесла никаких результатов, несмотря на то, что он предъявил уже значительно смягченные условия и требовал аманатов не от всех койсубулинских селений, а только от Гимр, Унцукуля, Аракан и Иргоная. Высланные к нему навстречу трое койсубулинских старшин даже не допустили его в селение, объявив, что народ до тех пор не вступит в переговоры, пока поставленный на высотах русский отряд не сойдет обратно вниз, пока им не возвратят баранов и пленных и пока Абу-Мусселим в обеспечение всего этого не выдаст им в аманаты своего родного брата. Между тем Абу-Мусселим узнал, что койсубулинцы получили сильные подкрепления от соседних обществ и что на помощь к ним приближаются аварцы. Последнее подтвердил и Сурхай-хан, только что ездивший по приказанию Розена в Авариию. Он прибыл в Хунзах как раз в то самое время, когда там происходило народное собрание, и слышал его решение идти на помощь к койсубулинцам.

Розен был крайне встревожен таким неожиданным оборотом дела. Он увидел, что положение его становится затруднительным, и попытался еще раз обратиться к койсубулинцам с новым увещанием. «Безрассудные! – писал он. – Будучи теснимы войсками русскими в ямах ваших, доколе можете продовольствовать себя? Голод и недостаток заставят вас раскаяться, но страшитесь, чтобы раскаяние не было поздно. Не думайте, чтобы ваши нужды не были нам известны: вы существуете и обогащаетесь продажей продуктов жителям Кизляра и покорных деревень; ваши каменные ямы не могут достаточно снабжать вас хлебом; ваши бараны не могут обходиться без пастбищ. Спешите исполнить немедленно предложения мои и не принуждайте принять мер, которые будут для вас губительны. Повторяю, войска не сойдут с высот, отряд останется на месте и что один выстрел с вашей стороны заставит меня стрелять по вас из пушек».

Как бы в подтверждение этой угрозы на высотах явились две батареи, чтобы прикрыть рабочих, по которым гимринцы не переставали стрелять из-за завалов. В то же время нашлась возвышенность, с которой Гимры открывались на расстоянии пушечного выстрела, и Розен воспользовался ею, чтобы поставить третью батарею, специально предназначавшуюся для бомбардирования. Дула орудий, грозно смотревшие из амбразур батареи, не замедлили оказать влияние на уступчивость койсубулинцев. Снова поехал к ним Абу-Мусселим и, после долгих переговоров, успел склонить их на выдачу аманатов, но не прежде, как самому ему пришлось дать в заложники своего брата. Это было двадцать пятого мая. Наутро явились старшины из Гимр и Унцукули и принесли присягу на подданство, но выдать Кази-муллу решительно отказались, ссылаясь на то, что его нет в селении.

Восходит светлая заря.
В параде ратные дружины;
Койсубулинские стремнины
Под властью русского царя!

Таким образом, главная цель экспедиции – захват Кази-муллы – не была достигнута, но этому, как кажется, Розен не придавал особого значения. Удовольствовавшись наружным миром, он не счел за нужное проливать русскую кровь для приведения в покорность одного человека, которого, Бог знает, удалось ли бы еще захватить, – и вернулся на линию. Это, как увидим, было большой ошибкой с его стороны, вызвав дальнейшие кровавые события, с которыми пришлось бороться уже не ему, а его преемникам...

НА ЭЛЬБРУСЕ И АРАПАТЕ

Верстах в трехстах к юго-востоку от Ставрополя на горизонте виднеется беловатая полоса, точно вереница облаков отдыхает на ясной, голубой лазури. Но облака по нескольку раз в минуту меняют свои очертания, а беловатая полоса, протянувшаяся вдоль горизонта, никогда не меняется. Как видели ее назад тому десятки тысяч лет, так видят ее и теперь, с тем же нежно-розовым отливом на утренней заре, с тем же слабым отблеском далекого зарева по вечерам, когда солнце уходит за горизонт, и прощальные лучи его озаряют окрестность. В туманную погоду и в знойные часы летнего полдня, когда мгла поднимается из раскаленной почвы, она совсем пропадает из вида. Эта белая полоса – снеговая линия Кавказа. В центре ее, несколько выдвинувшись вперед, возвышается увенчанный двуглавой короной колосс, который носит название Эльбруса*. Долгое время окрестности его были страной неведомой, куда не проникало русское оружие; и даже пытливым взором ученого, останавливаясь на нем, только издали любовался его белоснежной порфирой. Но время шло, – русские штыки наконец проложили себе путь к его заповедным предгорьям. Это было в 1828 году, во время покорения Эмануэлем Карачая. Эльбрус, считавшийся не более,

* Эльбрусом называют его только соседние горские племена: карачаевцы, балкарцы, чегемцы и другие. Урусниевцам он известен под именем Менге-тау, а кабардинцам – Ошха-махо, что значит счастливая гора.

как одной из вершин главного хребта, каким он представляется издали, оказался самостоятельной нагорной областью. Это исполин, не только смело рванувшийся ввысь, в заоблачный мир, но и захвативший своими отрогами целую страну, населенную различными племенами, говорящими на различных языках и наречиях. Покорением этих племен выполнялась одна из важнейших стратегических задач наших за Кубанью; но Эмануэль этим не удовлетворялся. Просвещенный генерал, не будучи ученым по профессии, был одним из выдающихся меценатов своего времени. Он хотел покорить самый Эльбрус, обозреть все его окрестности, побывать на его вершине, исследовать природу его во всех отношениях, словом, сделать его достоянием науки.

Для выполнения задуманного плана у Эмануэля как у высшего административного лица в крае были все вспомогательные средства: войска, проводники, вьючные животные, но не было людей, которые своими исследованиями и открытиями могли бы принести пользу науке, не было ученых и специалистов. Без них же восхождение на Эльбрус было бы подвигом, достойным удивления, но подвигом бесцельным и безрезультатным. В двадцатых годах нынешнего столетия наука в России не пользовалась большой популярностью; она составила достояние немногих избранных лиц, и, подобно науке средних веков, искавшей себе убежища в монастырях, работала в тиши академии, процветавшей только под эгидой русских венценосцев. Эмануэль снесся с Академией наук, приглашая членов ее принять участие в экспедиции, которую он намерен был предпринять летом к Эльбрусу и его окрестностям для открытия прямых и безопасных путей через этот центральный узел Большого Кавказа. Академия сочувственно откликнулась на его приглашение и с соизволения императора Николая Павловича командировала на Кавказ успешных завоевать себе почетное место в науке четырех

своих членов: Эмилио Ленца, совершившего с Коцебу кругосветное путешествие и впоследствии издавшего прекрасное руководство по физике; Адольфа Купфера, также профессора физики и химии; Карла Мейера, директора Ботанического сада в Петербурге, и Эдуарда Менетрие, энтомолога, занимавшего должность консерватора в кунсткамере, которую он обогатил замечательной коллекцией бразильских насекомых. От министерства финансов, для геологических и минералогических исследований, назначен был горный инженер Вансович, и, кроме того, к экспедиции присоединился еще один иностранец, известный венгерский путешественник де Бесс, посланный наследным принцем Габсбургского дома эрцгерцогом Иосифом в Крым, на Кавказ и в Малую Азию.

Это была вторая русская ученая экспедиция на Кавказ, первую совершили академики Гюльденштедт и Гмелин, посетившие Кавказ в 1769 году. Но восхождение на Эльбрус до Эмануэля никто никогда не предпринимал, да и самая мысль о подобном предприятии никому не могла прийти в голову. Отчеты об ученой экспедиции в 1829 году помещены в мемуарах С.-Петербургской академии наук, но они, как и вообще отчеты ученых и специалистов, отличаются сухостью и доступны пониманию не многих. К тому же, наблюдения, сделанные во время этой экспедиции, сравнительно с позднейшими исследованиями, уже потеряли цену, и самое определение высоты Эльбруса* показывает, что ныне руководствоваться данными этой экспедиции, без сличения их с новейшими изысканиями, невозможно. Зато другие стороны этой академической экскурсии весьма любопытны, особенно о тех местах, о которых сохранились мемуары венгра де Бесса, туриста без всяких претензий на каковую-либо ученость. Непогрешимости его путевых за-

* По тогдашнему измерению высота Эльбруса определялась в 16.330 футов, а по позднейшим исследованиям высшая точка его – 18.470 футов.

меток и наблюдений несколько вредит довольно странная мания видеть во всех народах, с которыми ему приходилось встречаться на Кавказе, племена, родственные венграм, – остатки великого народа маджар, или мадьяр, владевшего будто бы всем Северным Кавказом, до берегов Дона и Каспия. Всех их он приветствовал как своих единоплеменников. Карачаевцев он уверял даже, что в Венгрии и теперь еще сохранилась фамилия их древнего родоначальника Карачая, представители которой поныне служат в армии австрийского императора. Наивные горцы с немим удивлением внимали речам словоохотливого туриста, но не разделяли его национальной гордости. Довольные своим положением и внутренним устройством, они не желали никаких перемен и начали подозревать в навязываемом им родстве с мадьярами коварный умысел посадить к ним владельцем венгерского Карачая, о котором они не имели никакого понятия. Тревога их, вызванная открытиями иностранного путешественника в области этнографии, была так сильна, что Эмануэль нашел необходимым гласно вывести их из этого заблуждения и запретить де Бессу впредь вести разговоры о таких щекотливых предметах.

В настоящее время восхождение на Кавказские горы не только с научной целью, но даже для удовольствия альпийской прогулки, полной приключений, происходит часто и производится не только русскими путешественниками, но и разными иностранными учеными, посещающими Кавказ во время летнего перерыва их кабинетных занятий. Но во времена Эмануэля, когда прогулки вне стен укреплений происходили только на местности, огражденной казачьими пикетами, подобное восхождение на Эльбрус могло быть совершено только в виде военной экспедиции. К началу июля в Константиногорске собран был отряд из шестисот человек пехоты, четырех сотен казаков и двух орудий под начальством подполковника Ушакова, занимавшего в то время

должность нальчикского коменданта; из караногайских степей пригнали верблюдов для поднятия тяжестей, и небольшой отряд, сопровождавший ученую экспедицию, выступил девятого июля утром по пути к Бургустану. В свите Эмануэля не доставало только одного де Бесса, который приехал спустя несколько дней, когда войска стояли на урочище Хассауте. Казак доложил генералу, что прибыл какой-то иностранец, должно быть, немец, который сам себя называет «бесом». Эмануэль имел уже предварительные сведения о нем из письма эрцгерцога Иосифа и, как сам венгр, принял знаменитого путешественника с распростертыми объятиями.

Лагерь, раскинутый в верховьях реки Хассаута, не имел сам по себе ничего привлекательного. Напротив, своими прозаическими деталями он мало гармонировал с девственной красотой ландшафта. Для генерала и его свиты, к которой причислялись и все академики, разбиты были палатки; солдаты укрывались от солнечного зноя в шалашах, построенных из хвороста и древесных ветвей, а казаки разбрелись по ущельям между окрестными холмами, где на роскошных пастбищах лошади их утопали в траве по самую шею. Хассаут был первой станицей на пути к Эльбрусу, и с этой же станции начались исследования наших ученых. Но между тем, как одни из них пополняли свои гербарии, другие наблюдали барометр или делали вычисления, а третьи разыскивали в окрестных горах богатые залежи свинцовой руды и каменного угля, неутомимый венгерский турист весь поглощен был изысканием родословной своего народа, колыбелью которого, по мнению его, был Северный Кавказ. «Даже на этом самом месте, где теперь стоит наш лагерь, – говорил он Эмануэлю, – на месте пустынном и одичалом, сохранились следы пребывания мадьяров. Невежественные горцы зовут его Хассаут, тогда как настоящее имя его Казрут, что значит по-венгерски

“покосная дорога”. Здесь наши родоначальники, на этих самых лугах, пасли своих коней и сюда же, на эту самую речку, водили их на водопой». Он искал подтверждения своих догадок в местных преданиях, расспрашивал каждого горца, появившегося в лагере, и не находил ничего, кроме глубокого изумления со стороны туземцев, которых в данную минуту интересовала не родословная их предков, а внезапное появление русских штыков вблизи их аулов; особенно смущала их артиллерия – и депутация за депутацией являлись к Эмануэлю с тайной целью выведать – точно ли русские не имеют никаких завоевательных замыслов. Первыми прибыли карачаевцы, которым принадлежал Эльбрус своими северными и западными склонами. Они враждебно отнеслись к де Бессу, и даже у них промелькнула мысль, не пришел ли русский отряд посадить к ним нового правителя, какого-то неведомого им венгра. Эмануэль рассеял их опасения. Он объяснил карачаевцам, в чем дело, и сказал, что опасаться им за свои жилища ничего, что русских ни в чем упрекнуть нельзя, так как они все время свято соблюдали принятые на себя обязательства. «Без надежного военного прикрытия, – добавил он, – я не могу позволить нашим ученым, присланным от самого государя, предаваться исследованиям, особенно в таких местах, где по трущобам сидят аулы кабардинских абреков».

Заинтересованные предприятием, карачаевцы остались при отряде с тем, чтобы принять участие в экспедиции, в успехе которой, однако, сильно сомневались. Один из мулл, отправившийся обратно в Карта-юрт, успел успокоить переполошившееся население, после чего сам валий Карачая Ислам-Крым-шамхал тотчас сел на коня и выехал навстречу отряду. Вслед за ним стали являться и другие владельцы, из числа которых обращал на себя внимание ногайский князь Ашакрой Мансуров, прибывший с огромной свитой. Все они, успокоенные относительно намерений отряда,

относились, однако же, с большим недоверием к возможности достигнуть вершины Эльбруса. Энергичнее всех восстали против предприятия старики. «Если бы вы только потеряли время и труд, – говорил один из них де Бессу, – это бы еще ничего; но вы можете потерять людей и погибнуть сами. Идите. Мы от вас не отстанем, будем указывать вам дорогу, но до вершины горы не дойдем, а если и дойдем, то уже назад не спустимся». – «Да отчего же? Отчего?» – допытывался де Бесс через переводчика. «Так угодно Аллаху, – отвечал старик, – никто из смертных, пытавшихся проникнуть в тайны Эльбруса, еще не возвращался назад, и никто не может сказать, куда они пропадают».

Действительно, величественная и грозная природа Кавказа, с ее необъяснимыми для необразованного ума явлениями, сделала горцев чрезвычайно суеверными. Пылкое воображение их населило горы бесчисленным множеством сверхъестественных и таинственных обитателей и создало множество поэтических легенд, из которых мы расскажем те, которые относятся собственно к Эльбрусу.

Одно из самых древних преданий Востока говорит, что кавказские горы первые показали из-под воды после всемирного потопа и что за одну из них, именно за Эльбрус, как за подводную скалу зацепился Ноев ковчег. Он расколол вершину ее надвое и потом уже, отплыв отсюда, остановился на Арарате.

Греческие мифы говорят нам о Прометее, который похитил небесный огонь и был за то прикован Зевсом на вечные времена к кавказской скале, где он томится до сих пор в одной из ледяных пещер Эльбруса.

У горцев Северного Кавказа также существуют подобные легенды. Вот что, например, рассказывают о том осетины.

В глухой и полудикой Дигории, что лежит по соседству с землей карачаевцев, жил один бедный пастух, которого звали Бессо. Однажды, разыскивая горные пастбища для

своего маленького стада, он забрел в такие места, где не только никогда не был сам, но где едва ли ступала нога человека. Прямо перед ним вырезывался на голубом небе величественный силуэт Эльбруса, и снеговая вершина его, озаренная лучами восходящего солнца, переливалась всеми цветами радуги. Кругом стояли мрачные утесы, и странно! ему показалось, что они перешептываются между собой.

Какая-то неведомая сила тянула юношу вперед и вперед. Он подчинился ей безотчетно и шел до тех пор, пока не остановился перед зияющей пастью пещеры, угрюмой и страшной, как жилище демона. Оттуда неслись тихие стоны.

Бессо смело переступил порог старого, закоптевшего грота – и крик невольного изумления вырвался из его груди. Прямо против входа в пещеру к громадной каменной глыбе был прикован толстыми цепями красивый полуобнаженный юноша; его прекрасные голубые глаза выражали страдание; его шелковистые золотые кудри в беспорядке разлились по плечам, которые едва были прикрыты обрывками пурпурной мантии, испещренной золотыми узорами. Весь пол пещеры усыпан был золотыми и серебряными слитками, а по углам лежали кучи драгоценных камней.

– Бог да благословит тебя, добрый юноша! – сказал незнакомец, обращаясь к Бессо. – Приход твой может избавить меня от страданий, а тебе даст богатство и счастье.

– Приказывай, батона (господин), – отвечал пастух, почувствовавший к узнику необъяснимую симпатию. – Все, что может сделать бедный Бессо, – он делает.

– Поддай мне конец цепи, которая висит за тобою. – Бессо оглянулся. На противоположной стене, куда указывал юноша, был ввинчен обрывок толстой железной цепи. Бессо поднял его, но цепь оказалась короткой.

Тогда юноша сказал ему:

– Слушай, Бессо: я могу быть свободен, только схватясь за конец этой цепи; тогда я разорву оковы и уничтожу

злого коршуна, прилетающего терзать меня. Но цепь должна быть из старого железа; не пожалей трудов, собери его столько, сколько нужно для полуаршина цепи, скуй ее – и тогда я спасен, а богатства, которые ты видишь, будут твои. Но помни, пока я не буду свободен, ничей посторонний глаз не должен видеть не только меня, но даже утеса, в котором я погребен уже много-много веков.

Вернувшись домой, Бессо тотчас принялся за свой кропотливый труд: днем он собирал по кусочкам старое железо, ночью – уходил из деревни и перековывал его в пещере, о существовании которой, как ему казалось, никто не догадывался. Но когда цепь была готова, односельцы его, давно подметившие странное поведение пастуха, подстерегли его на дороге и силой заставили вести себя к таинственному гроту. Бессо пошел как приговоренный к смерти.

Вот перед ним показался уже Эльбрус, такой же величавый, такой же сверкающий, как в первый день его свидания с узником; те же скалы стояли на тех же местах, и как тогда, казалось, шептали между собой о тайне, скрытой в их недрах... Вот и пещера узника... И вдруг раздался оглушительный, страшный треск: громадный утес вместе с пещерой пошатнулся на своем основании, оторвался от гор и рухнул в бездну... Дико вскрикнул Бессо и без чувств повалился на землю; несчастный сошел с ума. Что стало с его спутниками, предание не говорит, но с тех пор на снежных пустынях Эльбруса больше никогда не отпечатывалась нога человека.

Таково осетинское сказание о Прометее. У христианских народов, соседних с Осетией, нет даже следов подобного мифа, и Эльбрус, этот гигант Кавказа, низводится народными легендами грузин на ступень нашей Лысой горы, где, как известно, собираются на шабаш киевские ведьмы. Только грузинские ведьмы отличаются от наших доморощенных тем, что совершают свои воздушные путешествия

не на традиционных метлах и вениках, а на черных котах, которых воруют у соседей.

Вера в недоступность вершины Эльбруса существует также и у горцев Западного Кавказа. У них также есть свой Прометей. Но какая разница между поэтическим вымыслом греков и суровым представлением наших воинственных горцев. Там Прометей – художник, прекрасным изваянием которого недоставало только души, и, чтобы вдохнуть в них жизнь, он решился похитить огонь с неба. В понятиях горца Прометей – титан, громоздивший скалы, чтобы по ним добраться до самого неба. Одна из наиболее распространенных легенд среди закубанских горцев рассказывает следующее:

На самом темени Эльбруса, с которого снег никогда не сходит, есть огромный шарообразный камень. На нем сидит великан-старик с длинной, до ног, бородой и с красными глазами, которые горят, как два раскаленные угля. Много веков пронеслось над землей с тех пор, как он, окруженный недремлющей стражей, сидит, прикованный к скале Эльбруса за то, что когда-то, полагаясь на свои титанические силы, думал низвергнуть самого Аллаха. Иногда старик пробуждается от тяжкого оцепенения, в котором находится века, и спрашивает своих сторожей: «Все ли еще растет на земле камыш и рожьются ягнята?» – «И камыш растет, и ягнята рожьются», – отвечают ему сторожа. И великан, зная, что он осужден томиться, пока на земле будет проявляться творческая сила Зиждителя, в бешенстве потрясает оковы. Тогда земля колеблется, и от звона цепей рожьются громы и молнии. Никто из смертных не может его увидеть, – на то и стража охраняет вершину Эльбруса, но его присутствие ощущается всеми: его стоны – это подземный гул, потрясающий подножия гор и утесов; его дыхание – порыв урагана; а слезы – та бурная река, которая

неистовым рокотом вырывается из-под вечных снегов Эльбруса.

По кабардинскому преданию, еще более поэтическому, на том же Эльбрусе обитает Джин-падишах, властитель и царь духов, которого Аллах низверг с небес за то, что в безумной гордыне он думал стать выше Того, Кто сотворил небо и землю. Он также стар – старее нашей земли, потому что сотворен был раньше ее, когда Аллах мановением руки создал бесплотные небесные силы. Наши годы для него мгновение; века и тысячелетия составляют его годы. Он помнит прошлое, которого был свидетелем, но ему известно и будущее. Он знает, что в наказание ему из далеких полуночных стран, где царствует вечная зима, придут великаны и покорят его заоблачное царство. И вот в мучительной тревоге поднимается он порой со своего ледяного трона и зовет со всех высей и пропастей Кавказа полчища подвластных ему духов. Когда он летал, от удара его крыльев поднималась буря, бушевало море и страшным ревом своих волн будило дремлющих в его пучинах духов. Иногда от трона царя со снежной вершины раздавались стоны и плач. Тогда умолкало пение птиц, увядали цветы, вершины гор одевались туманом, вздымались и ревели горные потоки, гремел гром, тряслись скалы – и все покрывалось мраком... Порой неслись оттуда же гармонические звуки и пение блаженных духов, которые, витая над тронном грозного владыки, желали пробудить в нем раскаяние и покорность великому Богу. В это время облака быстро исчезали с лазурного неба, снеговые вершины гор сверкали рубинами, ручьи тихо-тихо журчали, и цветы, как благовонные кадиланицы, курили фимиам и наполняли воздух благоуханным ароматом. Но грозный старец не внимал зову небес. Он вперял взоры на север и видел, как оттуда

Колыхаясь и сверкая
Двигались полки...

Это север слал свои дружины, и стальная цепь штыков их уже протянулась до предгорий его Эльбруса...

Теперь от области народных фантазий перейдем к действительности. Мифы доказывают пытливость человеческого ума, который до тех пор не даст себе покоя, пока не разрешит представившейся ему загадки. Той же пытливостью объясняется и предпринятое Эмануэлем восхождение на Эльбрус. Отряд его мы оставили в долине Хассаута, откуда шестнадцатого июля караван двинулся дальше и после трудного трехчасового перехода поднялся на высоту семи тысяч футов над уровнем моря. Это была вторая ступень исполинской лестницы, ведущей на Эльбрус с востока. Она состояла из обширного плато, известного под именем Зидах-тау, и была ограждена такими теснинами, что небольшая горсть людей, вооруженных винтовками, могла бы здесь остановить напор целой армии. На Зидах-тау, так же, как и у Хассаута, войска нашли все необходимое для бивуака: обильные пастбища, прекрасную воду и хворост для шалашей и костров. Но здесь же им пришлось испытать на себе и влияние некоторых климатических условий этого негостеприимного пояса. Из-за гребня ближайших высот вынырнула вдруг огромная черная туча, мгновенно омрачившая небо, и над лагерем пронесся ураган с проливным дождем и градом. Удары грома, сопровождавшиеся глухими раскатами в горах, придавали нечто грозное общей картине страны, внушая путешественнику, что он приближается к священной горе, недоступной назойливой пытливости человека.

За первой тучей стали появляться другие, и только к вечеру все они потянулись на восток освежать раскаленные степи каспийского побережья. На другой день утро было чудесное. По краям голубого неба торчали серебристые пики снеговых гор, и между ними кое-где еще плавали остатки облаков – последние следы пронесшейся бури.

Солнце грело, но не жгло и не сушило, как на плоскости. Трава, отчасти вытоптанная лошадьми и верблюдами, распространяла здоровое весеннее благоухание. Людям, принимавшим участие в экспедиции, пришлось в этом году второй раз встретить весну, хотя июль перевалил уже за половину, и внизу стояло сухое, знойное лето. Около семи часов утра отряд стал подниматься выше, на следующее плато, известное у туземцев под именем Карбиза. Дорога, огибая пропасти и выступы скал, делала переход тяжелым и утомительным, а между тем Эльбрус, точно угадывая намерение копошившихся под ним пигмеев, окутал свою корону густыми облаками и выслал навстречу экспедиции новую вереницу туч, опять разразившихся ураганом с громом и молнией.

Всю ночь бушевала буря и только к утру, точно утомленная напрасной борьбой с человеком, притихла. Войска поспешили оставить это негостеприимное плато и поднялись еще выше, на новую ступень, где им опять пришлось увидеть весну, но в раннем ее периоде. Своеобразная альпийская флора предстала во всей красе своей первой юности: небольшой лесок, венчавший террасу, едва распустил свою листву, а выбивавшаяся из-под снега трава была густа и нежным цветом напоминала цвет зеленого бархата. Утро опять было чудесное. Опасаясь, однако, новых метеорологических сюрпризов, солдаты деятельно занялись устройством своих шалашей и, навьюченные ворохами свежих древесных ветвей, сновали взад и вперед по лагерю, точно муравьи перед ненастьем. Другого рода деятельность шла внутри палаток, поставленных несколько в стороне от военного бивуака: то была деятельность людей, посвятивших себя науке и открывавших перед ней новые и новые горизонты. Из них двое трудились над своими коллекциями: один, ботаник Мейер, бережно укладывал между тонкими листьями своего гербария собранные им по

дорогам образчики растений, никогда прежде ему не встречавшихся; другой, страстный, неутомимый француз, зоолог Менетрие, вооруженный булавками, прикреплял к картону всех возможных сортов и величин букашек, бабочек, пауков, кузнечиков и других представителей энтомологического мира. Ленц приводил в порядок принадлежности своего походного физического кабинета. Купфер, самый симпатичный из четырех членов ученой экспедиции, мягкий, приветливый, с манерами настоящего джентльмена, все время не выпускал из рук пера; добровольно приняв на себя звание секретаря экспедиции, он готовил для академии мемуары, куда заносил каждый факт, каждое новое приобретение науки. Горный инженер, вооруженный геологическим молотком, с утра отправился бродить по окрестным горам и возвратился перед вечером с известием, что им открыты еще в четырех местах богатые залежи каменного угля и что вообще каменноугольный бассейн Хассаута и Малки не уступит в богатстве бассейну верхнего течения Кубани и ее четырех притоков: Мары, Хумары, Кента и Аракента. Что же касается ученого венгра, то ему оставалось только применять к делу неистощимый запас своих этнографических познаний.

Предусмотрительность нижних чинов, употребивших здесь два часа на устройство своих шалашей, оказалась очень кстати. К вечеру полил дождь. Целую ночь шумел он по ущельям, напоминая шум горных каскадов. Но к утру небо очистилось. Солдаты поспешили развести большие костры, чтобы обсушиться перед выступлением, которое назначено было ровно в восемь часов; но в половине восьмого новые тучи скопились над террасой, и полил дождь, хлынувший на бивуак, мгновенно загасил костры, и выступление было отложено. Движение в горах в такую погоду невозможно. Эмануэль решил переждать ее; но погода на этот раз выказала постоянство, на которое трудно

было рассчитывать в этой страшно пересеченной местности. Дождь не переставал в течение трех дней, и только в ночь на двадцатое число показались наконец звезды. Заря светлая, безоблачная предвещала ведро, и с восходом солнца барабаны ударили давно желанный генерал-марш. Жители предупреждали Эмануэля, что предстоящий переход будет самый трудный, потому что дорога едва доступна для всадников и совершенно недоступна для артиллерии и обоза. Кроме того, с той стороны, с которой предпринято было восхождение, Эльбрус окружает природный вал, который достигает девяти тысяч футов над уровнем моря. Отряд двигался медленно. Едва успел он подняться сажень на семьдесят от лагерного расположения, как был окружен густым туманом, налетевшим внезапно, как бы для того, чтобы заставить его одуматься и отказаться от безрассудного предприятия. Более двух часов простояла экспедиция на месте в ожидании, пока туман разойдется. Туземцы не преувеличивали опасности последнего перехода. Тропинка, по которой взбирались к верхнему уступу, чрезвычайно скользкая, шириной не более аршина, ползла мимо страшной пропасти с одной стороны и отвесными скалами с другой. Люди вооружены были длинными посохами с железными наконечниками и, несмотря на эту предосторожность, ступали шаг за шагом. Странствование по таким местам, помимо военных целей, может быть оправдываемо только любовью к науке, которая требует от своих жрецов такого же самопожертвования, как война от солдата. Караван растянулся версты на полторы. Шествие открывал старшина племени урусипиев Мурза-Кул, бодрый и свежий старик, полюбившийся всем своей веселостью и неистощимым юмором. За Мурза-Кулом шел генерал со свитой, а за ним, вытянувшись в нитку, поднимался отряд, останавливаясь через каждые десять-пятнадцать шагов, чтобы перевести дух. При таких условиях путешественникам

было не до разговоров, ни один из них не проронил ни слова, и только изредка, когда измученный де Бесс отставал от генерала, Мурза-Кул кричал ему с дружеской усмешкой: «Гайда, земляк, гайда: маджары никогда не оставались сзади!»

С трудом, но без приключений добрались наконец все до гребня обводного вала. Спуск с него был так же крут, как и подъем, но представлял еще больше опасности, так как спускаться приходилось по скользким и обледенелым камням. У подошвы спуска скалы сходятся так близко, что образуют узкий коридор, едва доступный для движения одного пешехода. Природа точно намеревалась совсем загородить доступ к Эльбрусу, но потом раздумала и оставила проход, известный у местных жителей под именем железных ворот. За этими воротами местность образует новое плато – последнюю ступень лестницы, ведущей к заповедной грани. Теперь уже не оставалось никаких преград, которые заслоняли бы от взоров грандиозную фигуру Эльбруса. Теперь он весь был налицо, от вершины до основания, во всем величии своей необычайной красоты, для описания которой человеческий язык не выработал подходящих выражений.

Тerrasу, или плато, со всех сторон обступали высокие, остроконечные утесы, на отвесных боках которых снег никогда не задерживался, и потому они сохраняли свой черный цвет, представлявший мрачный контраст с окружающими их снежными пустынями. Из-за угрюмых пиков этих утесов выглядывали купола и пирамиды покрытых вечным снегом гор в одиннадцать и двенадцать тысяч футов каждая. И эти исполинские горы казались пигмеями перед колоссальной фигурой самого Эльбруса. Никому из участников экспедиции не приходилось прежде стоять посреди таких подавляющих своим величием декораций – и они все поражены были до того, что не обменивались впечатлениями: они молчали или говорили вполголоса, точно

в самом деле стояли у входа в святая святых. Под свежим впечатлением этой картины де Бесс в своих мемуарах обращается к атеистам, приглашая их взглянуть на Эльбрус с того места, на котором он стоял перед ним в немом созерцании, и, положив руку на сердце, сказать – достанет ли у кого-нибудь из них смелости отвергнуть Художника, написавшего такую дивную картину, воздвигшего такой храм, у преддверия которого никаким земным помыслам не остается места в душе человека, – ничему, кроме молитвы и смирения.

На этой террасе отряд расположился лагерем. Теперь Эмануэль уже не сомневался более в возможности достигнуть кульминационной точки Кавказа, и восхождение на Эльбрус назначено было на другой день, двадцать первого июля. Между тем маленький отряд, сопровождавший экспедицию, принялся устраивать для себя помещения, насколько позволяли имевшиеся под рукой средства, а на этот раз под рукой не было ничего, кроме снега да скудного подножного корма. Но кавказский солдат умел находить для себя необходимое даже там, где по-видимому, не росло ни одной былинки. Рассыпавшись по окрестным ущельям, солдаты набрали на какой-то лесок и стали возвращаться в лагерь по одному и по два с охапками хвороста до того скромными, что за ними, кроме движущихся ног, ничего нельзя было видеть. Об усталости они совсем забыли и вспомнили об отдыхе только тогда, когда последние лучи догоравшего дня потухли на серебристых шатрах Эльбруса, и на их лагерь опустилась холодная звездная ночь. Громоздкие костры запылали между шатрами, и Эльбрус, может быть, в первый раз увидел на своих равнинах огни, кроме тех, которые каждое утро и каждый вечер зажигались на куполах окружающих его высоких гор.

На следующий день, еще не начинала заниматься заря, как все были уже на ногах. И людям, просвещенным наукой,

и темным простолюдинам одинаково хотелось хоть один раз в жизни насладиться видом Эльбруса при первых лучах восходящего солнца. И вот звезды стали гаснуть одна за другой. На востоке протянулась белая полоса рассвета, и снеговые горы, окутанные синеватой мглой, стали окрашиваться в такой нежно-розовый цвет, что издали казались прозрачными. И вдруг, ледяная корона Эльбруса зажглась мириадами ослепительных искр, и весь он предстал во всем блеске утреннего наряда, одетый в серебро, как в златотканую глазетовую ризу. То же явление повторилось и на соседних, покрытых снегом вершинах. Даже черные, остроконечные утесы на несколько мгновений утратили свой угрюмый вид и казались отлитыми из флорентийской бронзы. Картина была достойна великого Художника, Зидителя этой дивной природы. И взоры людей невольно обратились вверх, к беспредельной глубокой синеве эфира, куда с земли не достигает ничего, кроме молитвы...

В восемь часов утра двадцать второго июля Эмануэль вышел из лагеря с небольшим конвоем и, поднявшись на крутой и высокий холм, долго и внимательно осматривал в подзорную трубу восточный склон Эльбруса. Осмотр убедил его, что впереди препятствий не было, что все, что могло остановить или задержать его предприятие, было пройдено ранее. Оставался один корпус горы, но этот корпус поднимался на девять тысяч футов, почти вертикально над террасой, где стоял отряд, – и страшная высота, на которую приходилось взбираться, невольно пугала самое смелое воображение. Все народные мифы о недоступности этой горы оправдывались величественным и в то же время грозным ее видом. Эльбрус – это громадная снеговая пустыня, выброшенная из недр земли одним из тех мировых переворотов, которыми создавались материки и океаны. Это целая страна, перенесенная в заоблачные пространства, страна унылая, необитаемая, суровая. На полюсах есть

жизнь, на Эльбрусе ее нет. Название мертвой горы к нему еще более пристало, нежели к Асфальтовому озеру название Мертвого. В одиннадцать часов утра генерал вернулся в лагерь и тотчас же приступил к снаряжению небольшого каравана, который должен был сопровождать ученых-натуралистов на Эльбрус. Вызваны были охотники. Вышло двадцать казаков и один кабардинец, по имени Киляр. К академикам присоединился еще итальянский архитектор Бернадаци, но зато ученый венгерский турист предпочел оставаться внизу, в роли простого наблюдателя.

Запасшись на два дня провизией, караван выступил из лагеря, напутствуемый пожеланиями генерала и всех присутствующих. Прямо с террасы пришлось подниматься на так называемые черные горы, среди крутых и скалистых утесов, на которых не было ни малейших признаков тропинки; каждый ставил ногу туда, где казалось ему более удобным и безопасным, чтобы не сорваться в бездну. Не только академики, но даже казаки и проводник Киляр не решились доверить свою жизнь животным, и потому все спешили и вели лошадей в поводу. К вечеру черные горы были пройдены, и на площадке одной из них, под навесом выступившей громадной скалы, экспедиция заночевала. С этого момента генерал, наблюдавший за ней все время в телескоп, потерял ее из виду.

Только на другой день, в самый полдень, де Бесс первый заметил в телескоп на сверкающих снеговых покровах Эльбруса четырех человек, которые пытались достигнуть самой вершины горы. Трое из них скоро исчезли из виду, но четвертый поднимался все выше, выше – и вдруг фигура его рельефно обрисовалась над самой короной Эльбруса. То был, как оказалось впоследствии, кабардинец Киляр, уроженец Нальчика. Его появление на вершине горы войска приветствовали тремя ружейными залпами, и эхо гор, дремавшее столько веков, повторило громовые раскаты

пальбы столько же раз, сколько высот окружало священную гору. Едва ли какое-либо другое торжество сопровождалось таким величественным и грозным салютом.

К великому смущению местных жителей, никакого старика с длинной белой бородой, прикованного к скале, на Эльбрусе не оказалось. Джин-падишах, окруженный несметными полчищами своих подвластных духов, также не сделал никакой попытки к сопротивлению. Люди, пришедшие с полных стран, где царствует вечная зима, исполины по духу, покорили его заоблачное царство и сняли с узника оковы. Если бы де Бесс менее увлекался генеалогией своего народа, он бы мог написать в своем дневнике: «Мы ходили освободить Прометея, и Зевс не только не прогневался на нас, но, напротив, послал нам чудное синее небо, теплый ласкающий воздух и девственной белизны мягкий пушистый ковер под ноги».

Килляр никого и ничего не видел на Эльбрусе, но на память о своем восхождении принес оттуда черный с зеленоватыми прожилками камень, оказавшийся базальтом. Генерал приказал разбить его на две равные части, из которых одну отослал в Петербург, другую вручил де Бессу для хранения в национальном музее Пешта. Ученая экспедиция спустилась в лагерь в тот же день, но вследствие чрезмерной усталости не могла представиться генералу. Попытка взойти на Эльбрус ни для кого не прошла безнаказанно: глаза всех страшно распухли, а на лицах появились темные багровые пятна. Вершины горы никто из академиков достичь не мог, и все ученые наблюдения производились с небольшого обледенелого выступа, откуда окрестная страна представлялась обширной, рельефной картой. Академики сделали все, что могли, и большего требовать было нельзя от людей, не имевших ни навыка, ни опытности, ни выносливой натуры горца. Выше всех из них поднимался молодой Ленц, но и он остановился на высоте пятнадцати

тысяч футов. Купфер и Менетрие не пошли далее четырнадцати тысяч, а Мейер отстал от всех, хотя и ему удалось переступить границу вечного снега.

Утром двадцать второго июля, в то время как натуралисты, опираясь на свои длинные шесты, взбирались по обледенелым крутизнам Эльбруса, Эмануэль со своей стороны предпринял также небольшую экскурсию. Он не мог оставаться праздным, когда другие, может быть, с опасностью для жизни, предавались своим бескорыстным исследованиям в интересах науки. Если лета и высокое положение, занимаемое им в служебной иерархии, не позволили ему принять непосредственное участие в трудах академиков, то он пожелал по крайней мере ближе ознакомиться со всеми окрестностями Эльбруса и видеть все его достопримечательности. Уже давно он обратил внимание на глухой, однообразный шум, нарушавший торжественное молчание ночи, шум, напоминавший грохот экипажей, снующих взад и вперед по бойким улицам большого города. «Что это такое?» – спросил он одного горца. «Это Малка шумит», – ответил тот. В ту сторону генерал и направил свою экскурсию в сопровождении де Бесса, нескольких офицеров и конвойных казаков. Чем ближе подъезжали путешественники, тем явственнее доносился до них сердитый шум Малки, и в этом шуме терялся звук человеческого голоса, а в нескольких саженях нельзя было расслышать даже ружейного выстрела. Дорога к реке обрывалась на краю страшной пропасти, по другую сторону которой, с высоты семи тысяч восьмисот футов, падала вода, образуя громадный движущийся занавес. Это был настоящий водопад, напоминавший де Бессу знаменитый Шафгаузен на Рейне, но далеко превосходивший его дикой красотой пейзажа. Жители станиц, расположенных у нижнего течения Малки, где она так мерно катит свои желтоватые волны, конечно не подозревают, с какой

страшной высоты она низвергается и каким грозным величием обставлена ее колыбель.

Двадцать третьего июля, на другой день по возвращении экспедиции с вершины горы, у Эмануэля был парадный обед, на котором присутствовали представители Кабарды, Карачая, Урусипия и других закубанских народов. За обедом пили шампанское, замороженное в снегах Эльбруса, – и первый тост провозглашен был за здоровье венценосного покровителя наук, императора Николая Павловича. Этот тост, за неимением музыки, сопровождался бесконечными ружейными залпами, которым бесконечными перекатами вторило горное эхо; потом пили за инициатора экспедиции генерала Эмануэля, за ученых ее членов, за кабардинца Киляра, за фактическое присоединение Эльбруса к владениям Российской империи. Пили все, не исключая мусульман, которые оправдывали себя на этот раз исключительным случаем. После обеда Киляру вручен был с особенной торжественностью заслуженный приз, а затем состоялась церемония раздачи подарков всем почетным горцам, принимавшим участие в экспедиции.

Чтобы сохранить память о пребывании русских в этих местах, долгое время считавшихся заповедными, генерал приказал вырезать на скале, у входа на террасу, где стоял отряд, следующую надпись:

«В царствование Всероссийского Императора Николая I стоял здесь лагерем с 20 по 23 июля 1829 года командующий войсками на Кавказской линии генерал от кавалерии Георгий Эмануэль. При нем находились: сын его Георгий четырнадцати лет; посланные российским правительством академики: Купфер, Ленц, Менетрие, Мейер; чиновник горного корпуса Вансович, архитектор Минеральных Вод Иосиф Бернадаци и венгерский путешественник Иван де Бесс. Академики и Бернадаци, оставив лагерь, расположенный в восьми тысячах футов (1143 сажени) выше морской

поверхности, всходили двадцать второго числа на Эльбрус до пятнадцати с половиной тысяч футов (2223 сажени). Вершины же оно достиг только кабардинец Киляр. Пусть сей скромный камень передаст потомству имена тех, кои первые проложили путь к достижению донныне считающегося неприступным Эльбруса».

Кажется, эта же самая надпись находится на двух чугунных досках, которые стоят теперь на пятигорском бульваре, у грота Дианы, привлекая толпы любопытных как две скрижали, оставшиеся от давно минувшего и уже полузабытого времени. Доски отлиты на Луганском заводе и, по всей вероятности, предназначались сначала к постановке на том самом месте, где Эмануэль начертал свою надпись.

Двадцать третьего июля ученая экспедиция была окончена, и в тот же день, в три часа пополудни, назначено было обратное выступление. Войска, среди нахлынувшего вдруг густого тумана, скрывшего от глаз грандиозный ландшафт, окружавший террасу, спустились на плато Карбиза и отсюда, оставив в стороне Хассаут, повернули к верховьям Кубани, к так называемому Каменному мосту. Это были места, также никогда не посещавшиеся нашими войсками. Они поражали своей пустынностью и в то же время картинностью видов, менявшихся на каждом шагу и оставлявших по себе неизгладимые впечатления. Это была панорама, с которой, по словам де Бесса, не может сравниться ни один из виденных им пейзажей в Швейцарии. «Там, – говорит он, – на каждом шагу озера, в прозрачных водах которых отражаются горы, – в этом вся красота Швейцарии, красота величественная, спокойная, но довольно однообразная; здесь встречается все, что только может требовать взыскательная фантазия художника; в особенности хороши угрюмые, голые утесы рядом с роскошнейшими представителями флоры».

Замечательно, что на всем пути, где войска останавливались, и даже в ближайших окрестностях, – нигде не было видно следов пребывания человека. Даже от жилищ его ничего не осталось; время сравняло их с землей и не коснулось только жилища мертвецов: оно пощадило два кладбища – одно христианское, с глубоко вросшими в землю крестами, другое магометанское. От первого веяло седой древностью, последнее принадлежало к позднейшей эпохе, хотя также поросло мхом и обвилось повиликой. Но еще древнее, чем христианское кладбище, были курганы, которые тянулись по сторонам дороги. Все они были расставлены на таких одинаковых, точно отмеренных расстояниях, так были похожи один на другой, что, несмотря на их внушительные размеры, невольно приходила в голову мысль, что они – дело рук человеческих. В такой безукоризненной симметрии природа не ставит своих декораций. Эти курганы, по всей вероятности, и были могилами родоначальников или вождей какого-нибудь народа, давно сошедшего со сцены истории. Быть может, раскопки и дали бы какие-нибудь указания, но средства и время не позволяли заняться решением задач, входивших в область археологии. И тем не менее, по этим надгробным памятникам, придававшим стране грустный элегический характер, можно было читать ее историю. Язычество, христианство и магометанство – каждое имело здесь свою эпопею. Византийский монах, с крестом в руке, вытеснил отсюда жрецов, не знавших истинного Бога; чалма вытеснила монашеский клобук, – но кто вытеснит чалму? На этот вопрос, обращенный к туземцам, последние отвечали только красноречивым пожатием плеч.

Двадцать восьмого июля отряд, после пятидневного марша, приблизился наконец к Кубани, к знаменитому Каменному мосту. Эльбрус остался теперь позади, и те, которые видели его так близко, провели два дня у его под-

ножия, отныне будут его видеть только издали, на краю небосклона, в тех же белых ризах, но уже не в той величавой обстановке и не с тем ослепительным блеском. Но Эльбрус теперь не занимал путешественников; их занимал Каменный мост – это грозное явление природы, которому де Бесс дает характерное название «прекрасного ужаса». Каменный мост – это две скалы, свесившиеся над бездной с двух противоположных берегов реки. В давно прошедшее время они составляли, вероятно, одну сплошную арку, но вода разорвала ее и оставила посередине провал сажени в две шириной. Чтобы устроить мост, нужно с одной стороны на другую перекинуть кладки. И такие кладки существовали здесь до 1828 года, когда Эмануэль приказал сбросить их, чтобы лишить горцев возможности тревожить наше укрепление, стоявшее верстах в десяти ниже моста. Кубань, загроможенная обломками скал, низринутых со своих пьедесталов, бушует здесь с такой ужасающей силой, что громоздкие обломки ни секунды не остаются на месте: они двигаются под напором воды, сталкиваются и производят грохот, при котором можно объясняться только знаками. Если бы горы, окружающие эту дикую местность, не задерживали звуков, грохот этот разносился бы так далеко, что его слышали бы во всех казачьих станицах, на нижней и на верхней Кубани. Ученым академикам, сопровождавшим Эмануэля, довелось, таким образом, в короткое время находиться под впечатлением двух диаметрально противоположных явлений природы: созерцать величаво-спокойный Эльбрус и видеть неистово бушующие волны Кубани. Здесь, более чем где-нибудь, человек мог постигнуть и величие своего разума, и ничтожность сил, которыми его одарила природа; он может воспроизводить искусственные водопады, может прорывать перешейки, чтобы соединить две части света, устраивать воздушные дороги, оплодотворять и заселять великие пустыни Африки,

но он не в состоянии, при всех усовершенствованиях техники, создать что-нибудь подобное Каменному мосту на Кубани. Только природа могла соединить в одном произведении столько страшного величия с красотой, не поддающейся описанию.

Стоя на одном из выступов скал, академики заметили вблизи небольшое, но прекрасно содержанное кладбище, на котором, посреди неумолчного рева волн, покоились вечным сном мусульмане. На одном из памятников, поставленных в виде часовни, де Бесс прочел следующую, не лишенную поэзии надпись:

«Когда я навещаю тебя, я исполняю только свой долг. Сегодня ты успокоился, завтра придет моя очередь».

В четырех верстах отсюда была еще одна достопримечательность, обязанная своим происхождением уже чело- веку. Это одинокое здание, вознесенное на высокую гору и напоминавшее наружным видом древние византийские храмы. Это, действительно, и был храм, воздвигнутый на служение христианскому Богу. Века, пронесшиеся над ним, не оставили заметных следов разрушений, и даже мусульмане щадили древнюю святыню, которая продолжала стоять, возбуждая благоговейное почитание всех окружающих народов.

К сожалению, прибыль воды в реке, закрывшая все переправы, не позволила нашим путешественникам ближе ознакомиться с этим древним памятником христианства. Но, по словам Эмануэля, посетившего церковь в минувшем году, она настолько сохранилась, что реставрировать ее было не особенно трудно. Но для кого было реставрировать ее? Кто будет охранять святыню? Чьи молитвы будут возноситься перед алтарем ее? Не одно поколение сойдет со сцены прежде, нежели над ее старинными сводами исполнится пророческое слово Евангелия... «И будет едино стадо и един пастырь».

Первого августа отряд возвратился на линию и был распушен по квартирам.

Восхождение на вершину Эльбруса не было, однако же, явлением одиночным в области географических открытий на Кавказе за время управления краем графа Паскевича. Еще академики, сопровождавшие Эмануэля, не успели представить отчетов о сделанных ими исследованиях, как уже известный своими учеными трудами и путешествиями профессор Дерптского университета Иоган-Фридрих Паррот предпринимает, в сентябре того же 1829 года, восхождение на Арарат.

Всеобщее религиозное уважение, окружавшее эту священную гору с тех пор, как ковчег остановился на ее вершине, покоится прежде всего на библейских преданиях; но и помимо этих преданий Арарат имеет за собой еще большее политическое значение как пункт, где сходятся рубежи трех государств различных национальностей, различных вероисповеданий и, можно сказать, различных судеб, ожидающих их в будущем. Для России Арарат – ворота в Малую Азию, а Малая Азия, соприкасающаяся с пятью морями, представляла собой пять готовых путей во все концы мира. Вот почему все европейские кабинеты не могли не ударить в набат, когда Туркменчайский мир передал Арарат во владение русским. Один, уже из современных нам крупных политических деятелей, указывая на него, говорит, что это место избрано самой природой для рандеву между Сибирью и Сахарой, что переход от снежных вершин к раскаленным пескам так близок, что здесь один и тот же ветер колеблет своим дуновением и финиковую пальму на месопотамских равнинах, и северную сосну на курдистанских горах; здесь реву евфратского льва отзывается рев курдского медведя... Естественно, что описание

этой горы, исследование ее физических свойств, определение ее высоты и географического положения составляло предмет, над которым стоило потрудиться науке. И вот в начале осени 1829 года, когда спутники Эмануэля, Ленц, Купфер, Менатрие и Мейер, возвращались в Петербург, из Петербурга на Кавказ выехал Паррот. Он был уже на Пиренеях, бродил по их негостеприимным высотам, взбирался по опасным тропинкам на Рис-ди-Миди, наслаждался с Чатырдага прекрасным видом Южного берега Крыма, пытался исследовать ледники Казбека, и теперь намерен был подняться на вершину Арарата, на которую ничья нога не дерзала ступить от сотворения мира.

По своему географическому положению Арарат лежит в стране Армении и составляет священную реликвию этого народа; он окружен такими легендами и мифами, которые делают его предметом религиозного почитания, всасываемого армянами с молоком матери. Как всякий народ, потерявший политическую самостоятельность, армяне перенесли на особенности своей религии и ее местных аксессуаров всю ревнивую страстность своей южной природы, и всякий вопрос, касающийся свободного исследования в области их религиозных верований, встречают как посягательство на свою святая святых. Унаследовав землю, которая была колыбелью возрожденного человечества, армяне глубоко верят, что Ноев ковчег и до сих пор хранится на вершине горы, закрытый от взоров людей вечными льдами. Отсюда же вытекает и другое учение, как непосредственно связанное с первым, о святости горы и ее недоступности. Паррот конечно знал это значение Арарата в духовной жизни армян и хорошо понимал, что подняться на его вершину – значило подорвать вконец таинственное очарование, которым армяне окружали свой Масис*.

* Армяне называют Арарат Масис и производят это слово от имени Амосии, одного из праотцов из шестого колена Иафета.

В последних числах августа Паррот был уже в Эривани, и первый визит был сделан им в Эчмиадзинский монастырь, чтобы получить благословение католикоса. Католикосом Армении был в это время девяностотрехлетний старец Ефрем. Он принял Паррота в торжественной аудиенции, но говорил мало, и когда разговор касался восхождения на Арарат, отвечал или полусловами или короткими, ничего не значащими фразами. Старейшие представители духовенства также не выразили особого сочувствия к предприятию знаменитого путешественника. Прежняя судьба монастыря, – замечает Паррот, – судьба переменчивая и ставившая его в зависимость то от одного, то от другого владельца, наложила свою печать на монашествующую братию, и под личиной холодной вежливости вы здесь увидите скрытность, лицемерие и эгоизм. Тем не менее, при прощании с ученым профессором, Ефрем благословил его предприятие и даже дал ему в проводники весьма смышленного и расторопного дьякона Абовьяна.

Снаряжение экспедиции со стороны правительственных лиц не встретило никаких затруднений, потому что вся страна, лежавшая к северу от Арарата, за год перед тем была покорена русским оружием и обаяние целого ряда побед, одержанных Паскевичем в двух последовательных войнах, было так велико, что даже бродячие шайки курдов не смели приближаться к нашим границам. Если Эмануэлю в его экскурсии на Эльбрус потребовался целый отряд с артиллерией, то для Паррота оказалось достаточным лишь несколько человек в качестве проводников и то потому, что один он не решался идти на высокую гору, которая своей вершиной уходила далеко за пределы вечного снега и была окружена глубокими пропастями и вертикальными скалами. Парроту назначили в спутники трех поселян из деревни Аргури, приютившейся в долине св. Иакова у самой

подошвы Арарата, и двух рядовых сорок первого егерского полка Алексея Здоровенко и Матвея Чалпанова.

Еще в 1811 году, когда Паррот пытался взойти на Казбек, он оценил русского солдата, который хотя и не был таким отличным ходоком по горам, как прирожденный горец, но зато шел за отважным профессором смело и беспрекословно по таким местам, куда ни один горец из суверенного страха не решался сопровождать путешественника. В Эривани Паррот вспомнил об этой услуге, оказанной ему солдатами восемнадцать лет тому назад, и выпросил себе двух егерей, на которых полагался больше, нежели на всех проводников-горцев. И русский солдат, как увидим, не обманул и на этот раз его ожиданий.

Первую попытку взойти на библейскую гору Паррот предпринял с восточной стороны, казавшейся более доступной, нежели северная. Но это был только оптический обман. Паррот поднялся до тринадцати тысяч футов и должен был остановиться: дальше начинались отвесные кручи, и путь преграждался такими ледяными глыбами, на которые не только человек, даже цепкая серна не могла бы вскарабкаться. Паррот заночевал у линии вечного снега. Что должен был он пережить и почувствовать на этой страшной высоте, в безмолвные часы таинственной ночи!.. Его, как привидения, обступали со всех сторон темные силуэты скал, кругом зияли черные провалы, даже днем казавшиеся бездонными, а над головой висели грозные льды – предел, за которым выше облаков возносилась немая вершина горы... И надо всем этим – кроткое сияние звезд и неизмеримые глубины мировых пространств, – красноречивый аргумент вечности и всемогущества Творца!

Если сравнить положение Паррота у вершины Арарата с положением четырех академиков, сопровождавших Эмануэля на Эльбрус, – какая выйдет поражающая разница.

Там шум водопадов, говор тысячи голосов, палатки, бивуачные костры, лошади, верблюды... Там было с кем обменяться мыслями, было с кем поделиться восторгом или ужасом. Здесь – царство смерти, абсолютная неподвижность; никакого звука, кроме биения собственного сердца и дыхания спящих проводников, которым не было дела до красот и ужасов природы. Среди этой страшной воздушной пустыни Паррот был один, совершенно один.

Первая неудавшаяся попытка заставила его внимательно изучить северный склон, и восемнадцатого сентября он предпринял второе восхождение на Арарат уже со стороны Эривани. На этот раз его сопровождали те же солдаты, пять крестьян из того же селения Аргури, молодой эчмиадзинский монах Абовьян и двое ученых: профессор минералогии Бехагель фон Адлерскрон и зоолог Шиман. Вторая попытка была немногим удачнее первой: экспедиция перешла границу вечного снега, миновала так называемый ледяной пояс и поднялась на высоту пятнадцати тысяч футов. Но дальше идти опять было невозможно. Паррот и его спутники выбились из сил, а между тем густой туман обложил Арарат, и с вершин его поползли черные тучи, предвестники бурь, которые в этом заоблачном царстве бывают губительны. «Гроза, – говорит Абовьян, – разразилась скорее, чем можно было ожидать, и страшная буря, потрясая гору, навела на нас такой сильный страх, что мы впали в уныние, потеряв надежду на какое-либо спасение». Только один Паррот сохранил невозмутимое присутствие духа. Он видел невозможность бороться с расшвыряемыми стихиями, но прежде чем отступить, приказал водрузить, на память своего пребывания на Арарате, в том месте, до которого доходил, деревянный крест, освященный им в монастыре св. Иакова. Этот крест и ныне виден из Эривани. Ковчег и крест! Колыбель рода человеческого и символ его нравственного возрождения.

Когда крест был врублен в ледяную поверхность горы, Паррот начал спускаться вниз, чтобы ночь не застигла экспедицию на полугоре, среди страшных обрывов и круч; но несмотря на все предосторожности, случился эпизод, едва не стоивший жизни ученому путешественнику. Спускавшийся в нескольких шагах позади него зоолог Шиман вдруг поскользнулся и, не удержавшись на гладкой поверхности, покотился в пропасть. Желая задержать его падение, Паррот сильно уперся в лед железным каблуком своего сапога, но ремень, которым была подвязана подошва, лопнул, и Паррот, сам потеряв равновесие, покотился вместе с Шиманом. Они летели вниз более полуверсты и только задержались, ударившись о выступ какой-то гигантской скалы, преградившей им путь. К счастью, и Паррот, и Шиман отделались только небольшими ушибами. Тем не менее, опасаясь дать пищу народному суевию, Паррот тщательно старался скрыть свое падение, чтобы армяне не могли сказать, что его постигла Божья кара за дерзкую попытку подняться туда, куда со времени Ноя запрещено подниматься смертному.

Неудачу своей второй попытки Паррот объясняет не только наступившей бурей, но и ошибочностью в распределении времени, вследствие незнания им настоящей высоты Арарата, значительно превышающей высоту знакомого ему Монблана. Не предлагая, под влиянием усталости и неудач, предпринимать новых попыток, Паррот тем не менее не уезжал с Кавказа; он даже не покидал долины Аракса и очень часто подолгу не спускал глаз с того места, где поставил свой скромный памятник. Погода между тем установилась тихая, ясная и теплая. Грозы, которые к концу лета так часто тревожат атмосферу Эриванского плоскогорья, притихли. Над Араратом не было ни облачка; даже туман, расстроивший смелое предприятие путешественника,

давно разошелся, и белоснежные пирамиды библейской горы одиноко возвышались в прозрачном эфире. Впечатления первых двух неудач мало-помалу изгладились; уныние, овладевшее было Парротом, сменилось новой энергией; настойчивость взяла верх над колебаниями, и восемь дней спустя, двадцать шестого сентября, он предпринимает третье и последнее восхождение. Его сопровождали те же лица, с которыми он поднимался восемнадцатого сентября: тот же неутомимый монах эчмиадзинского монастыря Абовьян, те же поселяне деревни Аргури и те же два солдата. Не было только Бехагеля и Шимана, уехавших для исследования кульпинских соляных копей.

Экспедиция провела ночь на двадцать седьмое сентября на скале, гораздо выше того места, где ночевала в последний раз, стало быть, уже за пределами вечного снега. Утро застало всех на ногах. Усталый, но бодрый духом, оставив далеко позади себя крест, медленно взбирался Паррот по гладкой поверхности ледяного пояса. Ослепительный блеск расстилавшейся кругом его снежной скалтерти, при ярко сверкавшем солнце, резал ему глаза; но он шел, останавливаясь только для минутных отдыхов. Теперь никакие препятствия не могли бы заставить его отказаться от предприятия. Он шел с твердым намерением достигнуть цели, для которой приехал за три тысячи верст, зная, что весь ученый мир мысленно следит за каждым его шагом и с нетерпением ожидает известий о результатах его экспедиции. Настойчивость его увенчалась успехом: ровно в три часа пополудни он стал на вершине Арарата. Эту высокую честь разделили с ним эчмиадзинский монах, два русских солдата и два армянина; остальные спутники пристали на половине дороги и дальше не могли сделать ни шагу. Два часа оставался Паррот на Арарате, занимаясь барометрическими наблюдениями и напрасно отыскивая

следы кратера, которого, к немалому удивлению профессора, не оказалось. А между тем нет сомнения, что Арарат – потухший вулкан, и следы его извержений встречаются не только по всей долине Аракса, но даже у пределов вечного снега, где черные, точно выжженные скалы носят слишком явные следы своего вулканического происхождения: это застывшая лава, выброшенная из недр земли, быть может, в самый период образования Арарата.

Здесь, так же, как у ледяного пояса, Паррот поставил крест, в ознаменование того, что отныне священная гора должна составлять исключительную собственность христианского мира. Но это торжество не прошло ему даром. Он первый осмелился ступить на девственные снега Арарата, первый разрушил ореол его недостижимости – и если не был побит камнями или отлучен от церкви, как это случилось бы три или четыре века назад, то должен был выдержать одну из тех нравственных пыток, которые обыкновенно выпадают на долю всех изобретателей и пионеров в области науки. На страницах единственной издававшейся в то время на Кавказе газеты «Тифлиссские Ведомости» появилась статья, в которой некто Шопен утверждает, что на вершине Арарата со времени всемирного потопа никто никогда не бывал. На это издатель «Тифлиссских Ведомостей» заметил, что не далее как в 1829 году на Арарат всходил профессор Дерптского университета Паррот и даже на вершине его оставил вещественное доказательство своего восхождения. Шопен возразил, что никто на свете, и тем более армяне, не дадут веры показаниям Паррота уже потому, что самые свойства горы не позволяют подняться на ее вершину. «Паррот, – говорит Шопен, – действительно поставил крест на полугоре, но до этого места и даже несколько выше при благоприятной погоде доходят иногда охотники. Для того же, чтобы

отсюда подняться до самой вершины горы, нужно по меньшей мере употребить целые сутки».

Полемика, предметом которой служил один из выдающихся деятелей науки, не могла не обратить на себя внимание правительства. В Петербурге о ней заговорили. Тогдашний министр народного просвещения князь Ливен потребовал, чтобы было произведено формальное следствие и допрошены под присягой все лица, сопровождавшие Паррота в его экскурсии. «Честь, – писал он генералу Панкратьеву, – дорога для каждого человека, а кольми паче для известного ученого, пользовавшегося всегда добрым именем и видящего, что ныне стараются помрачить его имя в таком деле, которое важно для всей Европы и для России в особенности». Панкратьев приступил к дознанию с той осмотрительностью и с тем беспристрастием, которых требовали обстоятельства такого щекотливого дела. В показаниях допрошенных армян нельзя было не заметить некоторой уклончивости, легко объясняемой, впрочем, давлением на них общественного мнения, стремившегося подорвать авторитет Паррота и охладить любопытный пыл его последователей, если бы таковые оказались. «Армянская церковь, – говорит Паррот, – распространяя в народе легенду о ковчеге, до того заставила его уверовать в недостижимость вершины Арарата, что справедливость нашего восхождения отрицали даже те, которые там были». Зато показания двух темных русских солдат, ни чем не заинтересованных в деле, кроме раскрытия истины, отличались такой правотой и чистосердечием, что им нельзя было не дать безусловной веры. Оба они, Чалпанов и Здоровенко, показали, что крест, о котором говорит Шопен, действительно поставлен на полугоре, но что, кроме того, есть еще другой крест, водруженный ими на самой вершине, куда они поднялись вместе с Парротом

при третьем восхождении двадцать девятого сентября. Начальство дало за это каждому из них по десять рублей, а Паррот от себя подарил по червонцу.

Так завершилось скромное торжество науки, и памятником пребывания Паррота на Арарате остался крест, к которому прибита свинцовая доска со следующей надписью: «В Царствование Николая Павловича, Самодержца Всероссийского, сие священное место вооруженной рукой приобретено христианскому исповеданию графом Иваном Федоровичем Паскевичем-Эриванским, в лето от Рождества Христова 1829». С тех пор прошло больше шестидесяти лет, и Европа никогда не могла примириться с совершившимся фактом. Замечателен отзыв одного из ее политиков, сделанный назад тому лет двадцать или двадцать пять. «Величайшая опасность для независимости будущего человечества и для его цивилизации со стороны России, – сказал он, – заключается не в том, что она в Европе расположена только в двадцати часах парового пути от Берлина и Вены, но в том, что в своем поступательном движении в Западной Азии она стоит уже на Арарате».

Несколько слов о холодном оружии

Турецкая война в ряду разного рода тактических вопросов поставила на очередь важный вопрос о холодном оружии для русской кавалерии. Мы уже видели, как требователен был Паскевич к действиям русской конницы, и потому естественным желанием его было довести кавалерию до возможного совершенства. Но в коннице все важно – и всадник, и конь, и оружие. Нижегородский драгун на своем степняке, мало холеном, но приученном ко всем невзгодам боевой жизни, не оставлял желать ничего лучшего, но что касается его оружия, то оно далеко уступало по своим качествам оружию неприятеля, с которым ему приходилось иметь дело. Превосходные образцы клинков, которые Паскевич видел у персиян, турок, курдов и у наших линейных казаков, дали ему мысль вооружить и нашу регулярную кавалерию точно такими же шашками.

С другой стороны вопрос этот не мог не интересовать и бывшего тогда министра финансов графа Канкрин, которому подчинялись в России оружейные заводы, а в том числе и фабрика белого оружия, открытая незадолго перед тем в Оренбургской губернии. Это был нынешний Златоустовский завод, основание которому положили в 1812 году несколько известных солингенских оружейников, сделавших предложение учредить в России казенную фабрику исключительно для выделки холодного оружия. Европейские войны, длившиеся тогда вплоть до 1816 года, замедлили решение этого вопроса, и он осуществился лишь в 1819 году, когда

в Златоусте поселились иностранные оружейники, которым придали в помощь несколько русских мастеров и нужное число рабочих.

Естественное желание улучшить, насколько возможно, тогда еще новую у нас отрасль производства холодного оружия, заставило Канкрин обратиться за сведениями к Паскевичу, который в своих азиатских походах мог лучше других оценить достоинство восточных клинков. Восточное оружие издревле славилось в Европе; но с тех пор, как русские начали войну на Кавказе, стали приобретать известность черкесские шашки, удары которых, нередко перерубавшие ружейные стволы и даже рассекавшие панцири, приводили всех в изумление. Канкрин желал знать, из какого материала изготавливается это оружие, процесс самой работы и способ закалки клинков.

Обратились в Тифлис к лучшему мастеру Кахраман Елиазарову. Он сделал за сто шестьдесят червонцев на пробу саблю и кинжал настоящего булата, но двух различных видов его, стальную шпагу, только с виду похожую на булат и, наконец, шашку, клинок которой представлял волнообразную поверхность только по середине.

Лучшими из этих клинков признавались булатные, далеко превосходившие обыкновенную сталь твердостью и остротой лезвия; они отличались по виду волнистыми разводами или рисунками, которые покрывали клинки и составляли признак их высокого качества. По словам Елиазарова, достоинство булата можно было распознать, как по наружному виду этих рисунков, так и по цвету самого грунта и по отливу клинка на свет. Чем выше булат, тем отблеск заметнее и тем сильнее он будет отливать синеватым, малиновым, а в самых высших сортах золотистым цветом. Прямые линии, образующие рисунок, обличают низший сорт булата, а по мере возвышения его достоинств они переходят в кривые линии и точки, образуя фигуры,

похожие на виноградные ветви или имеющие вид сетки; и, наконец, чем темнее цвет грунта, тем выше почитается достоинство самого булата.

После булата первое место должно быть отведено старинным европейским клинкам, особенно времен крестовых походов. Почему, несмотря на все современные успехи и усовершенствования техники, старинные клинки превосходят своими достоинствами новейшие изделия – это объяснить себе можно лишь тем, что прежде изготовление оружия находилось в руках у людей интеллигентных, знакомых с наукой, которые употребляли и труд, и время, и все свои сведения на то, чтобы отлить, выковать и закалить клинок высокого достоинства. Тогда над отделкой одного клинка трудились по целым месяцам, иногда по годам, сотни раз перековывая и исправляя его там, где замечались какие-либо погрешности. Теперь ручная работа заменилась машинной, и клинки выделываются уже не одиночными штуками, а целыми партиями. Людей науки, стоявших когда-то у очага и наковальни, сменили простые рабочие люди, а между тем древние сказания повествуют нам именно о многих знаменитых ученых оружейниках, как например, об известном генуэзце Феррари и других живших в XIV, XV и XVI столетиях. К сожалению, историки, передавая сведения об их изумительных изделиях, ничего не говорят о способе выделки, которым они пользовались.

У нас подобные клинки нередко встречались на Кавказе и были известны под разными названиями: волчков, калдынов, терс-меймунов, крестовиков, франков и прочих. Последними назывались, впрочем, все произведения генуэзских и других мастеров, пользовавшихся в Европе заслуженной известностью. Образцы почти всех этих сортов можно было встретить в старое время у наших линейных казаков, вооружение которых составляло такую оригинальную мозаику, представляло собою такую коллекцию

всевозможных редких клинков, которая стоила бы серьезно-го внимания и изучения тем более, что еще до сих пор никто не обращал археологических изысканий на этот предмет.

Казаки добывали подобное оружие исключительно от горцев, но остается загадочным вопрос – откуда оно могло появиться на Кавказе. В христианской Грузии это еще объясняется близкими сношениями ее с рыцарями крестовых походов, шум которых коснулся отчасти Иверии, и крестonosцы не могли не оставить по себе памяти на оружии туземцев. Но подобные клинки хоть реже, а все же встречаются в Чечне, в Дагестане, у осетин, и особенно много их было на Кубани и на восточном берегу Черного моря. Скорее всего это следы генуэзских и венецианских колоний во время господства их в Колхиде и в древней Фанагории; но можно предположить также, что оно занесено и сюда рыцарями крестовых походов. По крайней мере известно, что черкесы любили разрывать могилы и курганы, и часто находили в них истлевшие кости, а вместе с ними рыцарские доспехи и мечи, которые переделывали в шашки. Кому же могли принадлежать эти останки, как не воинственным пилигримам святой земли, сложившим на их земле свои кости и свое оружие. На многих клинках попадаются изображения гербов Восточной Римской империи, каких-то крылатых юношей или всадников в гусарской одежде, несомненно свидетельствующих о их венгерском происхождении; на многих сохраняются и полустертые временем латинские или итальянские надписи, выражающие то какое-нибудь молитвенное изречение, то воззвание к Богу или к Богоматери, то просто восклицание вроде: «Vivat Husar!» и т. д. Рассказывают, что в 1839 году, при штурме Ахульго, взята была шашка с латинской надписью: «Vivat Zawicha!» – это была фамилия известных польских магнатов; а так как по странному стечению обстоятельств в отряде в это время находился гвардейский

офицер Завиша, раненный на этом же штурме, то ему и была поднесена эта шашка, некогда принадлежавшая, быть может, одному из его знаменитых предков. Нам лично случилось видеть на стариннейшем генуэзском клинке даже славянскую надпись. Она гласила: «За Кубанью, при реке Урупе, в 1787 году сентября 21 и 22 числа и вторично за Кубанью октября с 14 ноября по 3 число в действительном сражении супротив горцев находился». На другой стороне весьма сложная монограмма владельца и восклицание: «Боже, помоги мне победить врага своего в горах и вертепах». Мы видели эту шашку в известном магазине Шафа, но кому принадлежит она, свидетельница походов Павла Сергеевича Потемкина против Ших-Мансура, к сожалению, нам не известно.

Все эти клинки несомненно древнейшего происхождения, и их хотя с трудом, но все еще можно найти на Кавказе; но клинки ученого Феррари, с именем мастера и клеймом, изображающим волчью голову на конце какого-то барельефа, – есть достояние лишь немногих музеев, и нам удалось только раз видеть подобную шашку в частных руках. Она принадлежит известному кавказскому генералу князю А. и унаследована им от отца и деда. Так редки, и потому так высоко ценятся клинки этого знаменитого мастера.

Добывая оружие в кровавых боях, когда над телом убитого завязывались отчаянные схватки, и смерть одного влекла за собою гибель десятка других прежде, чем удавалось завладеть оружием, казак не мог не дорожить подобной шашкой. И, действительно, имя владельца какого-нибудь знаменитого клинка становилось известным не только в станице, но и в целом полку, возбуждая зависть, а подчас и недоброжелательство. Один путешественник рассказывает, как старый казак, одиноко доживавший свой век в отставке, предлагал ему купить у него шашку. Клинок был превосходный, настоящий терс-маймун, и рубил

гвоздь, как сахар. Показывая шашку, вытасченную им из какого-то подполья, старик предварительно запер двери и огляделся кругом, чтобы его не подслушали. На вопрос, как ему не стыдно продавать такую шашку, казак отвечал: «А куда ее передать? Детей у меня нет, а держать такую вещь мне, одинокому старику, не безопасно. Я уже пустил славу, что сбыл ее на правый фланг, да все как-то не верят, все будто присматривают за мною. Долго ли до греха!»

И старик был прав. Еще в недалеком прошлом страсть к хорошему оружию не раз наталкивала казаков на преступления: случалось воровство, бывали даже случаи убийств...

После изделий Феррари и других ученых мастеров лучшими сортами европейских шашек на Кавказе считаются так называемые волчки. Впрочем, этим именем их окрестили русские; горцы называют такие клинки «калдын» и «терс-маймун», хотя оба эти сорта различаются между собой даже по наружному виду. Калдын преимущественно встречается в Нагорном Дагестане, а у Хевсур – это почти исключительное оружие. Широкий, как меч, калдын имеет на одной стороне изображение креста над кругом, а на другой – бегущего волка. На терс-маймуне есть также небольшие кресты, расположенные в известном систематическом порядке, но бегущий зверек изображается лишь несколькими черточками, по сторонам зверька иногда бывают, иногда не бывают латинские буквы Н. М. Эти клинки, высоко ценимые на Кавказе, чаще попадают в Чечне, хотя чеченцам труднее других доставалось приобретение хороших клинков, так как они жили далеко от Черного моря и даже от Грузии – этих двух центров, откуда распространялось оружие. Неизвестно, почему чеченцы опознали в этом зверьке обезьяну – «маймун», отчего произошло у них и самое название клинков. Русские признали это изображение за волка и называют такую шашку волчком.

Происхождение этих клинков относят также ко временам крестоносцев. Дело в том, что известная французская фамилия Монморанси имела этого волчка в фамильном гербе. Один из этих Монморанси, именно Генрих (Henri) участвовал в крестовых походах и, по обычаю тех веков, свита и оруженосцы его, как и каждого феодального аристократа, носила на оружии герб своего владельца, украшая его еще иногда и начальными буквами Н. М., то есть Henri Monmoranci. Вот это-то оружие, заказанное по всей вероятности одному какому-нибудь лучшему в то время мастеру, и получило по своему достоинству громкую известность на Востоке. Нет ничего удивительного в том, что грузины, посылавшие свои дружины в Иерусалим на помощь к крестоносцам, как знатоки и любители ценного оружия старались приобретать эти мечи и занесли их в Грузию, где приноровили к потребностям края, то есть переделали их в шашки; но эти шашки выходили почти прямые и только на конце обтачивались так, что представляли слабо изогнутую линию. Нет сомнения, что по их образцу местные мастера стали выделывать клинки с такими же клеймами, но далеко не с теми достоинствами, каким отличалось оружие Монморанси. Подделка всегда и везде соблазнила оружейников, рассчитывавших на тех покупателей, которые, пренебрегая новым добрым железом, приобретают полосы, украшенные старыми гербами, хотя бы и вытравленными солью. Один булат не поддается подделке. Правда, волнистые разводы его могут быть вытравлены и на самом простом железе, но стоит только отшлифовать клинок или намазать его разбавленной серной или соляной кислотой, и эти рисунки исчезнут. Напротив, в настоящем булате, ежели даже разводы стертые временем, то стоит отшлифовать клинок или покрыть его ржавым лаком, употребляемым обыкновенно для окраски стволов, и эти рисунки выйдут наружу.

Но между местными кавказскими мастерами в старое время были такие, изделия которых не только не уступали старым европейским клинкам, но даже превосходили их, предназначаясь почти исключительно для рубки панцирей. Такова, например, знаменитая на всем Кавказе «Гурда». Рассказывают, что один из мастеров, достигший чрезвычайным трудом и усилиями хорошей выделки этих чудных клинков, встретил себе соперника в лице другого мастера, старавшегося всячески подорвать его репутацию. Произошла ссора, и первый, желая доказать преимущество своего железа, с криком «Гурда!» («Смотри!») одним ударом перерубил пополам и клинок, и самого соперника. Имя этого мастера изгладилось из народной памяти, но его восклицание «Гурда!» так и осталось за его клинками. Знатки различают три рода гурды: это – «ассель» (старая «гурда»), «гурда-мажар» и «гурда-эль-мурза», отличающиеся друг от друга различными клеймами. Такой же славой пользовались на Кавказе кинжалы старого Базалая; но настоящие из них так редки, что немногим удавалось даже видеть их, и большинству они известны только понаслышке. Клинки эти высекают огонь не хуже огнива и бреют бороду, как бритвы. Современные мастера довольствуются тем, что кинжал при самом слабом ударе или нажиме врезается в медную монету настолько, что поднимает ее за собою. Немногие, однако же, достигают и этого искусства.

Каким образом выделывались старые клинки, наверное, никому не известно. Со смертью мастера обыкновенно умирал секрет его и теперь трудно даже определить: зависело ли это от личного искусства в отковке и закалке железа, или же от какой-нибудь смеси между собой различных металлов. Даже Елиазаров, лучший оружейник того времени, достигший замечательного мастерства в отделке булата, ничего не мог воспроизвести вроде гурды или волчка. Кахраман объяснил, однако, что лучшие клинки

выделываются им из старых железных подков, которые обрабатываются с порошком турецкого чугуна и потом свариваются с турецкой сталью; самая закалка клинков производилась им весьма оригинальным способом: возле кузницы его стоял наготове всадник; раскаленное в горне лезвие кузнеца передавал в руки всадника, который с места пускался в карьер и летел во весь конский опор до определенного места, подняв клинок против ветра. Сталь закаливалась быстрым движением воздуха.

Кахраман после долгих переговоров наконец склонился за высокую цену продать секрет изготовления булата и даже научить этому искусству мастеров, которые будут присланы для этой цели в Тифлис, но требовал материала: индийского железа, из которого только и может быть выкован настоящий булат, турецкой стали и турецкого чугуна в порошке. Канкрин полагал, что из множества видов и чугуна и стали, изготавливаемых на наших заводах, не трудно было выбрать сходные по качествам своим с турецкими. Но что такое индийское железо, Кахраман, получивший этот материал готовым из Персии и Индии, не знал и сам. На основании некоторых свойств его, а также и химических исследований, одни полагали, что это смесь из двух материалов – стали и железа, другие, что это сплав железной руды с самым чистым графитом и, наконец, третьи, что это есть не что иное, как сталь Вуца. Правильно ли или нет было такое заключение – не знаем, но образцы русского железа, присланные Кахраману, не годились для выделки булата. Лучшими из них он признавал двухвываренную сталь Златоустовского завода, потом сталь литую и, наконец, железо, которое в изломе можно было назвать белым и которое после раскаливания в горне ломалось от удара молота. Из этого материала можно было изготавливать, хотя не булатные, но отличные дамаскированные клинки; из стали Бодаевского завода клинки также выходили

хорошие, но уже без струи; металлы же прочих заводов и вовсе не годились для выделки добротного оружия.

В 1830 году из Златоуста присланы были в Тифлис четыре мастера, два немца и два русских, которые явились к Елизаарову и после двухлетнего обучения возвратились назад. Нужно полагать, что результаты обучения принесли заводу немалую пользу, потому что – случайно или не случайно – но лучшими клинками, выпущенными заводом, всегда признавались в кавалерии те, на которых была пометка 1832, 1833 и 1834 года, что совпадает как раз с первыми годами деятельности кахрамановских учеников. Потом клинки стали выделяться хуже. Не касаясь шашек последнего образца, еще не опробованных в деле, и потому не подлежащих правильной оценке, нужно сознаться, что прежние шашки для боя не годились. Кому приходилось участвовать в кавалерийских схватках, тот подтвердит, что наша кавалерия рубить не умела, и что причина этого крылась прежде всего в неудовлетворительности наших клинков. Одиночные богатырские удары, на которые обыкновенно ссылаются очевидцы, ничего доказать не могут, потому что это проявление только физической силы, которую в равной мере требовать от всех невозможно. Гурда и волчок тем и хороши, что страшны даже в детских руках.
